



# АЗАР НАФИСИ

Читая «Лолиту» в Тегеране

«Я была очарована  
и тронута мемуарами Нафиси»

Сьюзан Зонтаг

книга переведена на 32 языка

# Азар Нафиси

## Читая «Лолиту» в Тегеране

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68053183](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68053183)  
Читая «Лолиту» в Тегеране: Лайвбук; Москва; 2022  
ISBN 978-5-907428-53-9*

### Аннотация

Выдающийся документальный роман, заслуженно получивший мировую популярность. Книга о том, как политика вторгается в личную жизнь человека, и о жажде свободы, которую невозможно уничтожить. Правдивая история, наполненная поразительными деталями, – взгляд изнутри на существование в стране-изгое.

Азар Нафиси, дочь бывшего мэра Тегерана, получившая образование в Америке, возвращается на родину, чтобы преподавать иранским студентам зарубежную литературу. Исламская революция рушит все планы, и занятия превращаются в тайные собрания. В то время как стражи порядка устраивают рейды по всей стране, фундаменталисты захватывают университеты, а цензура душит искусство, девушки в гостях у Нафиси безбоязненно снимают хиджабы и вдохновенно погружаются в миры Джейн Остин, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Владимира Набокова. «Зыбкая нереальность» происходящего превращается в феерический праздник любви к литературе.

# Содержание

От автора	7
Часть I	8
1	8
2	16
3	20
4	27
5	38
6	45
7	49
8	53
9	57
10	69
11	75
12	79
13	80
14	89
15	96
16	110
17	113
18	118
19	120
20	133
21	138

22	146
Часть II	152
1	152
2	155
3	163
4	167
Конец ознакомительного фрагмента.	171

# Азар Нафиси

## Читая «Лолиту» в Тегеране

*В память о моей матери Незхат Нафиси*

*Моему отцу Ахмаду Нафиси*

*И моей семье: Биджану, Негар и Даре Надери*

*Кому рассказать о том,  
что на этой земле приключилось с нами  
кому мы повсюду поставили  
мириады огромных зеркал  
в надежде, что они переполнятся  
и всё сохранят навсегда<sup>1</sup>.*

*ЧЕСЛАВ МИЛОШ, «Анналена»*

AZAR NAFISI

Reading Lolita In Tehran

*Published by arrangement with Random House, a division of  
Penguin Random House LLC*

*В оформлении обложки использовано использовано фото  
Isabelle Eshraghi / Agence VU'*

Copyright © 2003, Azar Nafisi All rights reserved

© Юлия Змеева, перевод на русский язык, 2022



# От автора

Черты героев и события в повествовании изменены главным образом для защиты людей не столько от ока цензуры, сколько от тех, кто читает подобные книги, чтобы выяснить, кто есть кто и что кому сделал, подпитываясь чужими тайнами и наполняя ими свою пустоту. Факты в этой книге правдивы настолько, насколько может быть правдива память, но я постаралась защитить друзей и учениц, дав им новые имена и замаскировав их, пожалуй, даже от них самих. Я изменила и перетасовала грани их жизней так, что их тайнам ничего не угрожает.

# Часть I

## «Лолита»

### 1

Осенью 1995 года, оставив свой последний преподавательский пост, я решила себя побаловать и исполнить одну мечту. Я выбрала семь своих лучших и самых прилежных студенток и предложила им встречаться у меня дома утром по четвергам и говорить о литературе. Все они были женщинами – преподавать смешанной группе на дому было слишком рискованно, хотя обсуждали мы безобидные художественные произведения. Один студент оказался особенно настойчивым, и хотя мы не пустили его в женскую группу, он отстоял свое право заниматься. Нима читал заданный материал, приходил ко мне домой в другие дни, и мы обсуждали прочитанное.

Я часто в шутку напоминала ученицам о романе «Лучшие годы мисс Джин Броди» Мюриэл Спарк и спрашивала: кто из вас в итоге меня предаст?<sup>2</sup> По натуре я пессимистка и не со-

---

<sup>2</sup> Главная героиня романа Мюриэл Спарк преподает в группе из шести девочек, одна из которых в итоге ее предает, уничтожив ее преподавательскую карьеру, причем она так и не узнает, какая именно.

мневалась: хотя бы одна из них пойдет против меня. Нассрин однажды лукаво ответила: «Вы сами как-то сказали, что в конечном итоге каждый человек предает сам себя, становится для своего же Христа Иудой». Манна заметила, что я – не мисс Броди, а они... что ж, они такие, какие есть. Напомнила мне о предостережении, которое я любила повторять: никогда, ни при каких обстоятельствах не умаляйте литературное произведение, воображая, что оно является дубликатом реальной жизни; в литературе мы ищем не реальность, а внезапное осознание истины. И все же, случись мне не послушаться своего же совета и выбрать произведение, сильнее всего перекликающееся с нашей жизнью в Исламской Республике Иран, я бы выбрала не «Лучшие годы мисс Джин Броди» и даже не «1984», а набоковское «Приглашение на казнь» или – даже лучше – «Лолиту».

Через несколько лет после начала наших утренних семинаров в мой последний вечер в Тегеране избранные друзья и студентки пришли попрощаться и помочь мне собрать вещи. Когда мы убрали из дома всю его обстановку, когда вещи исчезли и краски померкли, уместившись в восемь серых чемоданов, подобно странствующим джиннам, спрятавшимся обратно в лампы, мы с моими студентками встали в гостиной на фоне голых белых стен и дважды сфотографировались.

Эти два снимка сейчас лежат передо мной. На первом изображены семь женщин, стоящие на фоне белой стены. По

закону нашей страны они одеты в черные накидки и платки<sup>3</sup>, скрывающие все, кроме овалов лиц и кистей. На второй фотографии те же женщины в тех же позах на фоне той же стены. Но они сняли свои покровы. Фигуры не сливаются в одну, а отличаются друг от друга. Каждая выглядит иначе благодаря расцветке и крою одежды, цвету и длине волос; даже две девушки, оставшиеся в платках, не похожи друг на друга.

Крайняя справа на втором снимке – наша поэтесса Манна. На ней белая футболка и джинсы. Вдохновением для ее стихов служило все, чего большинство людей не замечали. Фотография не передает особую непроницаемость темных глаз Манны – свидетельство ее замкнутости и скрытности.

Рядом стоит Махшид, чей длинный черный шарф контрастирует с тонкими чертами лица и едва уловимой улыбкой. Махшид обладала многими талантами, но больше всего в ней поражала утонченность; мы звали ее «миледи». Нассрин говорила, что не столько прозвище характеризует Махшид, сколько она привносит в него новые смыслы. Махшид очень чувствительна. Ясси как-то сравнила ее с фарфоровой статуэткой, которую может расколоть любое грубое прикосновение. Тем, кто плохо ее знает, она кажется хрупкой, но горе тому, кто ее обидит. Что до Ясси, по ее собственным словам, она была похожа на старый добрый пластик – не треснет, что бы с ней ни делали.

---

<sup>3</sup> Слово «хиджаб» обозначает и накидку, и платок (совокупное название всех элементов костюма).

Ясси была у нас младшей. На снимке она в желтом, наклонилась вперед и заливисто хохочет. Мы в шутку называли ее нашей комедианткой. Она была застенчива, но иногда входила в раж и забывала о робости. Голос у нее был насмешливый и недоверчивый, причем высмеивала она не только окружающих, но и себя, все и всех подвергая сомнению.

Я в коричневом стою рядом с Ясси, обняв ее за плечи одной рукой. За мной – Азин, самая высокая моя студентка, с длинными золотистыми волосами и в розовой футболке. Как и все мы, она смеется. Улыбки Азин никогда не были похожи на улыбки, скорее на предвестники безудержного нервного веселья. Она так улыбалась, даже когда описывала очередные неприятности с мужем. Дерзкая, языкастая, Азин наслаждалась шоковым эффектом, который производили ее поступки и слова, и часто спорила с Махшид и Манной. Мы называли ее неуправляемой.

По другую руку от меня стоит Митра, пожалуй, самая спокойная из учениц. Подобно пастельным оттенкам ее картин, она словно сливается с фоном и выглядит бледнее остальных. Ее красота могла бы показаться скучной, если бы не обворожительные ямочки на щеках, которыми она активно пользовалась, чтобы склонить на свою сторону наивных жертв своих манипуляций.

Саназ испытывала сильное давление семьи и общества и металась между стремлением к независимости и потребностью в одобрении. На снимке она держит Митру за руку. Мы

все смеемся. За кадром – наш невидимый союзник, фотограф: Нима, муж Манны и единственный настоящий литературный критик, которого я могла бы воспитать, если бы ему хватило упорства заканчивать свои блестящие очерки, которые он начинал и бросал.

Была еще одна: Нассрин. Ее нет на снимках; она не осталась с нами до самого конца. Но мой рассказ был бы неполон без тех, кто не сумел или не захотел с нами остаться. Их отсутствие навязчиво, как острая боль, не имеющая физической причины. Для меня в этом весь Тегеран: те, кого там уже нет, для меня реальнее тех, кто все еще там.

В моих воспоминаниях Нассрин предстает слегка в расфокусе, размытой, далекой. Я просмотрела свои фотографии со студентами, сделанные за годы работы; на многих изображена Нассрин, но она всегда за чем-то или кем-то – ее загромождают то человек, то дерево. На одной фотографии я и восемь студенток стоим в маленьком саду перед зданием кафедры; это одна из прощальных фотографий, которых скопилось немало. На заднем плане – тенистая ива, мы смеемся, а в уголке из-за плеча самой высокой девочки выглядывает Нассрин, как озорной чертенок, проникший туда, куда его не звали. На другом снимке ее лица почти не видно в небольшом просвете между плечами двух других студенток. Здесь она выглядит рассеянной, хмурится, словно не догадывается, что ее снимают.

Как описать Нассрин? Однажды я сравнила ее с Чешир-

ским Котом – она появлялась и исчезала всякий раз, когда моя научная карьера совершала очередной неожиданный поворот. Правда в том, что я не могу ее описать; она сама по себе. Нассрин – это Нассрин; вот и все, что можно о ней сказать.

Почти два года каждое утро в четверг в любую погоду девочки приходили ко мне домой, и почти каждый раз я вздрагивала, когда они снимали обязательные к ношению хиджабы и их одежда ослепляла меня многоцветьем. Заходя в мою гостиную, студентки снимали не только накидки и платки. Каждая из них постепенно обретала форму и очертания, свое уникальное «я». Эта гостиная с окном, в котором виднелись мои любимые Эльбурские горы, стала нашим убежищем, нашей самодостаточной вселенной, высмеивающей реальность, полную покорных, укутанных черными платками лиц на улицах раскинувшегося внизу города.

Мы выбрали темой наших занятий взаимоотношения литературы и реальности. Мы читали классические персидские произведения – «Тысячу и одну ночь», сказки нашей землячки Шахерезады, – и классические произведения западной литературы – «Гордость и предубеждение», «Госпожу Бовари», «Дейзи Миллер»<sup>4</sup>, «Декабрь декана»<sup>5</sup> и, конечно, «Лолиту». Пишу название каждого произведения, и ветром приносит воспоминания, тревожащие покой этого осеннего

---

<sup>4</sup> Роман Генри Джеймса (1878).

<sup>5</sup> Роман Сола Беллоу (1982).

дня в другой гостиной, в другой стране.

Здесь и сейчас, в другом мире, о котором столько раз заходила речь в наших обсуждениях, я сижу и представляю, как мы с моими студентками – моими девочками, как я стала их называть, – читаем «Лолиту» в комнате в Тегеране, залитой обманчивым солнцем. Однако, пользуясь словами Гумберта, поэта и преступника из «Лолиты», я хочу, чтобы нас представили вы, читатели, ведь если вы этого не сделаете, мы не сможем существовать. Вопреки тирании времени и политики представьте нас такими, какими мы порой не осмеливались представить себя сами: в самые личные и сокровенные моменты, в самые необычайно обычные минуты жизни. Представьте, как мы слушаем музыку, влюбляемся, ходим по тенистым улицам и читаем «Лолиту» в Тегеране. Потом представьте нас снова и вообразите, что все это у нас отняли; нас загнали в подполье и забрали у нас все.

Если сегодня я пишу о Набокове, то лишь для того, чтобы порадоваться тому, как мы читали Набокова в Тегеране вопреки всему. Из всех его романов я выбрала тот, что всегда шел последним в моей программе, тот, с которым связано так много воспоминаний. Я хочу написать о «Лолите», но теперь невозможно писать об этом романе и не писать о Тегеране. Так пусть это будет историей «Лолиты» в Тегеране, рассказом о том, как благодаря «Лолите» Тегеран предстал перед нами другим, и о том, как Тегеран помог переосмыслить роман Набокова, после этого ставший уже другой «Ло-

литой» – *нашей* «Лолитой».

## 2

Итак, однажды в четверг в начале сентября мы собрались в моей гостиной на первый урок. В который раз представляю, как это было. Сначала звонят в дверь дома; после паузы дверь подъезда закрывается. Слышу шаги на винтовой лестнице; девочки проходят мимо квартиры моей матери. По пути к двери своей квартиры смотрю в окно в боковой стене и вижу кусочек неба. На пороге каждая из девочек снимает хиджаб, некоторые встряхивают головой из стороны в сторону. В дверях гостиной останавливаются. Только нет никакой гостиной – лишь дразнящая бездна памяти.

Гостиная больше других комнат в нашей квартире свидетельствовала о моей бродячей жизни без своего угла. Здесь соседствовала разнородная мебель из разных эпох и мест; отсутствие единого стиля объяснялось отчасти финансовой нуждой, отчасти моим эклектичным вкусом. Как ни странно, эти кажущиеся несочетаемыми элементы приводили к возникновению симметрии, которой не хватало другим, более продуманно обставленным комнатам в квартире.

Моя мать всякий раз бесилась при виде картин, прислоненных к стене, ваз с цветами на полу и окон без штор – я отказывалась занавешивать окна, пока мне наконец не напомнили, что мы живем в мусульманской стране и окна *должны* быть занавешены. Ты моя ли дочь вообще, сокрушалась

она. Я разве не воспитывала в тебе аккуратность и любовь к порядку? Она говорила серьезно, но повторяла одну и ту же жалобу так много лет, что превратила ее в почти трогательный ритуал. Ази – это было мое уменьшительное имя, Ази, – ты теперь взрослая женщина, вот и веди себя соответственно. Но было в ее словах что-то, отчего я чувствовала себя маленькой, уязвимой и упрямой девочкой, и когда в воспоминаниях я слышу ее голос, то понимаю, что не оправдала ее ожиданий. Не стала леди, которой она видела меня в своих планах.

Эта комната, на которую я тогда не обращала особого внимания, позже стала драгоценным объектом моей памяти и потому обрела в моем сознании совершенно иной статус. Она была просторной, с минимумом мебели и декора. В одном углу размещался причудливый камин, построенный моим мужем Биджаном. У стены стоял двухместный диван, который я накрыла кружевным покрывалом, давным-давно подаренным мне матерью. К окну была повернута бледно-персиковая кушетка; рядом стояли два одинаковых кресла и большой квадратный кованый столик со стеклянной столешницей.

Я всегда садилась на стул спиной к окну, откуда открывался вид на широкий тупик – улицу Азар. Прямо напротив окна располагался бывший Американский госпиталь; когда-то это была маленькая эксклюзивная клиника, теперь она превратилась в шумное переполненное медучреждение для ин-

валидов и раненых ветеранов войны. По выходным – в Иране это четверг и пятница – на маленькой улице собирались толпы пациентов больницы, приходивших сюда, как на пикник, с детьми и бутербродами. Сильнее всего страдал от этого нашествия дворик нашего соседа, его радость и гордость, особенно летом, когда пациенты обрывали у него все розы. С улицы доносился детский крик, плач и смех, к которому примешивались голоса матерей – те кричали, окликали детей по имени и грозили наказаниями. Бывало, дети звонили нам в дверь и убегали, а через некоторое время повторяли эту рискованную забаву.

Мы жили на втором этаже – на первом жила моя мать, а третий занимал брат, чья квартира часто пустовала, так как он уехал в Англию. Из окон своей квартиры мы видели верхние ветви раскидистого дерева, а вдалеке, над крышами домов – горы Эльбурс. Улица, больница и ее посетители были скрыты из виду; мы знали об их существовании лишь благодаря доносившимся снизу бесплотным голосам.

Со своего стула я не могла видеть любимые горы, но напротив него, на дальней стене гостиной, висело старинное овальное зеркало, отцовский подарок, и в отражении я видела эти горы, чьи снежные шапки не таяли даже летом, и кроны деревьев, меняющие цвет. Этот опосредованный вид усиливал ощущение, что шум доносится не с улицы, а откуда-то издалека, из места, чей настойчивый гул являлся нашей единственной связью с миром, существование которого

мы отказывались признавать хотя бы на эти несколько часов.

Гостиная для всех нас стала местом перехода между мирами. Что это была за страна чудес! Сидя за большим кофейным столиком, уставленным букетами, мы ныряли в романы, которые читали, и выныривали обратно. Вспоминая об этом времени, я поражаюсь тому, сколько всего мы для себя открыли, даже об этом не догадываясь. Выражаясь словами Набокова, мы на своем опыте узнавали, как волшебная призма художественного слова превращает в бриллиант непримечательный камушек обычной жизни.

### 3

Шесть утра; первый день занятий. Я уже была на ногах. От волнения у меня пропал аппетит; я поставила кофейник и долго принимала душ, никуда не спеша. Вода ласково скользила по моей шее, спине и ногам; я стояла, ощущая и легкость, и твердую опору. Впервые за много лет меня охватило чувство радостного предвкушения, к которому не применивались напряжение и страх – мне не придется проходить мучительные ритуалы, омрачавшие мои дни, когда я преподавала в университете, ритуалы, диктующие мне, как одеваться, как себя вести, вплоть до жестов, которые я должна была контролировать и не забывать об этом. К этому занятию я готовилась иначе.

Жизнь в Исламской Республике была капризной, как месяц апрель: солнце выглядывало ненадолго, чтобы вновь смениться дождями и грозами. Жизнь была непредсказуемой: режим имел циклический характер, то оттаивая в сторону некоторой толерантности, то закручивая гайки. Тогда, спустя период относительного спокойствия и так называемой «либерализации», вновь настало тяжелое время. Университеты подверглись атаке культурных пуристов, насаждавших более строгий кодекс правил; дошло до разделения на мужские и женские классы и наказания профессоров, что не желали подчиняться.

Университет имени Алламе Табатабаи<sup>6</sup>, где я преподавала с 1987 года, считался одним из самых либеральных иранских университетов. Рассказывали, что в Министерстве высшего образования кто-то даже спросил – вопрос был, разумеется, риторическим, – а не кажется ли нам, преподавательскому составу Университета Алламе, что мы в Швейцарии. Швейцария в Иране почему-то стала символом западной распушенности – если какая-либо программа или действие не вписывалось в исламский канон, о них отзывались укоризненно и насмешливо: мол, «Иран вам не Швейцария».

Самое сильное давление оказывали на студентов. Я ощущала беспомощность, выслушивая их бесконечные горестные жалобы. Студенток наказывали за то, что они бежали по лестнице, опаздывая на занятия, за смех в коридорах, за разговоры с противоположным полом. Однажды Саназ вбежала в класс в слезах ближе к концу занятия; рыдая, она объяснила, что опоздала, потому что охранницы у входа нашли в ее сумочке румяна, сделали ей выговор и пытались отправить домой.

Почему я так внезапно перестала преподавать? Я много раз себя об этом спрашивала. Было ли все дело в неуклонно падающем качестве образования в нашем университете? В растущем равнодушии оставшихся преподавателей и студентов? В ежедневной борьбе с деспотическими правилами

---

<sup>6</sup> Один из крупнейших иранских университетов со специализацией «общественные и гуманитарные науки», входит в десятку лучших в Иране.

и ограничениями?

Улыбаясь, я терла кожу грубой натуральной мочалкой и вспоминала реакцию администрации университета на мое письмо об увольнении. Они притесняли и ограничивали меня всевозможными способами, следили за моими контактами, контролировали мои действия и отказывали в продлении давно просроченного трудового договора, но когда я ушла, внезапно начали сокрушаться и отказались принять мое увольнение, чем привели меня в ярость. Студенты пригрозили, что будут бойкотировать занятия, и позже я с некоторым удовлетворением узнала, что они действительно бойкотировали заменившего меня преподавателя, хотя им пригрозили наказанием. Все думали, что я сломаюсь и рано или поздно вернусь.

Лишь через два года они наконец приняли мое заявление об уходе. Помню, друг сказал мне: ты не понимаешь ход их мыслей. Они не принимают твоё заявление, потому что считают, что ты не вправе уйти сама. Им кажется, лишь они могут решать, надолго ли ты останешься и когда от тебя можно избавиться. Думаю, именно это их самодурство в итоге стало невыносимым.

И что ты будешь делать? – спрашивали друзья. – Сидеть дома? А я отвечала: что ж, я могла бы написать ещё одну книгу. Но на самом деле определенных планов у меня не было. Недавно я опубликовала книгу о Набокове и все ещё не отошла от этого труда; лишь смутные идеи дымом витали

в голове, когда я задумывалась над формой своей следующей книги. Я могла бы некоторое время продолжать изучение классической персидской литературы; это занятие мне нравилось. Но внезапно на первый план выдвинулась идея, которую я вынашивала годами. Я долго мечтала собрать особый учебный кружок, где у меня была бы возможность свободно обсуждать все то, что мне не давали обсуждать на занятиях в Исламской Республике. Я хотела обучать группу избранных студенток, для которых изучение литературы было стойким увлечением, а не тех, кого выбрало правительство, и не тех, кто пошел изучать английскую литературу лишь потому, что их не брали в другие сферы, или потому, что им казалось, будто диплом специалиста по английской литературе – хороший карьерный шаг.

В Исламской Республике преподавание, как и остальные профессии, подчинялось политике и контролировалось сводом деспотических правил. Радость от преподавания всегда омрачалась необходимостью держать в голове ограничения, наложенные на нас режимом. Можно ли быть хорошим преподавателем, если университетскую администрацию больше заботит не качество твоей работы, а цвет губ или выбившаяся из-под платка прядь волос, являющаяся потенциально антиправительственным выступлением? Можно ли сосредоточиться на работе, когда кафедра занята лишь тем, как бы вырезать из рассказа Хемингуэя слово «вино», или решает

исключить из программы Бронте, потому что та сквозь пальцы смотрела на адюльтер?

Все это напоминало мне мою подругу-художницу, которая в начале карьеры рисовала сцены из реальной жизни – пустые комнаты, заброшенные дома, старые фотографии женщин, никому больше не нужные. Но постепенно ее работы становились все более абстрактными, и на последней выставке уже представляли собой яркие пятна мятежных цветов. Две такие картины висели у меня в гостиной – капли голубой краски на темном фоне. Я спросила, как она ушла от современного реализма и пришла к абстракции. «Реальный мир стал таким невыносимым, таким безрадостным, что теперь я могу рисовать лишь краски моей мечты», – ответила она.

Краски моей мечты, повторяла я про себя, выходя из душа и ступая на холодный кафель. Какой красивый образ. Многим ли людям выпадает шанс рисовать краски своей мечты? Я надела просторный халат, мягко перейдя от убаюкивающих струй теплой воды к защитному кокону халата, обернутого вокруг тела. Босиком прошла на кухню, налила кофе в любимую кружку с узором из красных ягод клубники и села на кушетку в холле, ни о чем толком не думая.

Занятия с этой группой были красками моей мечты. Они подразумевали активный уход от реальности, ставшей враждебной. Мне очень хотелось удержать это редкое чувство оптимизма и ликования. На самом деле я не знала, что ждет меня в конце этого проекта. Ты хоть понимаешь, сказал мне

друг, что ты все дальше уходишь в себя, и теперь, когда ты обрубила связи с университетом, твой контакт с внешним миром будет ограничен одной этой комнатой? А дальше что? Жить мечтами может быть опасно, рассудила я, направляясь в спальню, чтобы переодеться; я знала это на примере безумных набоковских мечтателей – Кинбота<sup>7</sup> и Гумберта.

Отбирая студенток, я не ориентировалась на их идеологическую и религиозную принадлежность. Позже я поняла, что одним из самых больших достижений этих собраний было то, что такая неоднородная группа с разными, порой конфликтующими позициями – личными, религиозными, общественными – осталась верна своим целям и идеалам.

Я выбрала этих девочек отчасти потому, что в них странным образом сочетались хрупкость и мужество. Все они были, что называется, одиночками, не принадлежали к какой-либо группировке или секте. Я восхищалась их способностью выживать не вопреки, а порой благодаря своей обособленности. Манна предложила назвать наши собрания «своим пространством» по аналогии со «своей комнатой» Вирджинии Вулф – только это была общая комната.

Тем первым утром я дольше обычного выбирала, что надеть, примеряла разные наряды, пока наконец не взяла рубашку в красную полоску и черные вельветовые джинсы. Я аккуратно нанесла макияж, покрасила губы красной помадой. Застегивая маленькие золотые сережки, вдруг запани-

---

<sup>7</sup> Чарльз Кинбот – герой романа Набокова «Бледный огонь» (1962).

ковала. Что если ничего не получится? Что если никто не придет?

Нет, не надо, приказываю я себе! Забудь о страхах на грядущие пять-шесть часов. Пожалуйста, забудь, взываю я, надеваю туфли и иду на кухню.

Когда в дверь позвонили, я заваривала чай. Я так глубоко ушла в свои мысли, что первый звонок не услышала. Открываю дверь. На пороге Махшид. Я уж подумала, вас нет дома, говорит она и протягивает мне букет белых и желтых нарциссов. Она сняла черную накидку, а я сказала, что в доме нет мужчин и она может снять и платок. Махшид и Ясси носили хиджаб, но Ясси в последнее время стала завязывать платок более небрежно – свободным узлом под подбородком. Из-под платка выбивались темно-каштановые волосы, разделенные неровным прямым пробором. Волосы Махшид под платком, напротив, были старательно уложены и завиты. С короткой челкой она выглядела старомодно и больше походила на европейку, чем на иранку. На ней была белая рубашка и темно-голубой жакет с вышитой справа большой желтой бабочкой. Я указала на бабочку и спросила: это в честь Набокова?<sup>8</sup>

Я уже не помню, когда Махшид начала посещать мой курс в университете. Она как будто всегда была там. Отец ее, набожный мусульманин, был ярым сторонником революции. Платок она носила и до революции, а в литературном дневнике, который я задала вести, писала о том времени, ко-

---

<sup>8</sup> Бабочки – важный образ и символ в творчестве Набокова, например, они часто появляются в его произведениях как предвестники смерти.

гда ходила в престижный колледж для девочек, об одиноких утрах, когда чувствовала себя изгоем и невидимкой – как ни парадоксально, из-за своего наряда, который тогда выделял ее из толпы. После революции ее на пять лет посадили в тюрьму за связь с диссидентскими религиозными организациями и запретили продолжать обучение в течение двух лет после выхода из тюрьмы.

Я представила ее в дни до революции; солнечным утром она шагает в гору по улице, ведущей к колледжу. Идет одна, глядя себе под ноги. Погожий день не приносит ей никакого удовольствия; этого не было тогда, нет и сейчас. Я говорю «нет и сейчас», потому что революция, сделавшая ношение платка обязательным для всех, не избавила Махшид от одиночества. До революции она могла в некоторой степени гордиться своей изоляцией. В то время она носила платок как свидетельство своей веры. Решение ее было добровольным. Когда революция насадила платок всем женщинам, ее действия потеряли смысл.

Махшид благовоспитанна в истинном смысле этого слова, обладает своеобразной грацией и достоинством. Кожа у нее как лунный свет, глаза миндалевидные, а волосы – угольно-черные. Она одевается во все пастельное и говорит тихо. Религиозность должна была оградить ее от проблем, но не оградила. Представить ее в тюрьме я не могу.

За годы нашего с Махшид знакомства она редко упоминала свой тюремный опыт, наградивший ее хроническим за-

болеванием почек. Однажды в классе мы говорили о страхах и кошмарах, которые преследуют нас день ото дня, и она призналась, что иногда к ней возвращаются тюремные воспоминания, и она пока не нашла способ проговорить и выразить, что с ней там произошло. Однако, добавила она, в повседневной жизни ужасов не меньше, чем в тюрьме.

Я предложила Махшид выпить чаю. Неизменно вежливая, она ответила, что хочет подождать остальных, и извинилась, что пришла чуть раньше назначенного времени. Могу я чем-то помочь, спросила она? Тут нечем помогать, ответила я. Располагайся. Я пошла на кухню с цветами и искала вазу. Снова позвонили в дверь. Я открою, крикнула Махшид из гостиной. Я услышала смех; пришли Манна и Ясси.

Манна зашла на кухню с маленьким букетом роз. От Нимы, пояснила она. Он хочет, чтобы вам было совестно, что вы исключили его из группы. Говорит, что возьмет букет роз и во время занятий устроит под вашими окнами марш протеста. Она улыбалась; глаза ненадолго заискрились и снова погасли.

Я разложила пирожные на большом подносе и спросила Манну, ассоциируются ли у нее отдельные слова из ее стихотворений с цветом. И пояснила: Набоков в автобиографии писал, что у него и его матери был свой цвет для каждой буквы алфавита<sup>9</sup>. Себя он называл «писателем-живописцем».

---

<sup>9</sup> По-научному это называется графемно-цветовая синестезия: форма синестезии, при которой индивидуальное восприятие графем – цифр и букв – ассоции-

В Исламской Республике мое цветочное чутье огрубело, ответила Манна, теребя опавшие листья своих роз. Хочется носить кричащие тона: вызывающий розовый, помидорный красный. Душа жаждет цвета так сильно, что разглядеть цвета в тщательно отобранных словах стихотворений уже не получается. Манна принадлежала к людям, способным испытывать эйфорию, но не счастье. Иди сюда, хочу кое-что тебе показать, сказала я, ведя ее в нашу спальню. Когда я была еще совсем маленькой, папа рассказывал мне сказки на ночь, и для меня всегда было важно знать, какого цвета все те места и вещи, что он описывал. Я хотела знать, какого цвета было платье Шахерезады, покрывало на ее кровати, джинн и волшебная лампа, а однажды я спросила у отца, какого цвета рай. Он ответил, что рай может быть любого цвета, какого я захочу. Но меня такой ответ не устроил. Однажды к нам пришли гости; я сидела в столовой и ела суп, и взгляд вдруг упал на картину, которая висела на стене, сколько я себя помнила. В тот миг я поняла, какого цвета мой рай. Вот эта картина, сказала я и гордо указала на маленькую картину маслом в старой деревянной раме: пейзаж с зеленой травой, пышной глянцевитой листвой, двумя птицами, двумя темно-красными яблоками, золотистой грушей и краешком голубого неба. Мой рай – цвета голубой воды в бассейне, воскликнула Манна, все еще не сводя глаз с картины. А потом повернулась ко мне и рассказала, что они жили в доме с большим

---

руется с ощущением цвета.

садом, принадлежавшем ее бабушке и дедушке, – знаете эти старинные персидские сады с плодовыми деревьями, персиками, яблонями, черешнями, хурмой и ивами. Мои лучшие воспоминания о детстве, продолжала она, связаны с тем, как я плаваю в нашем большом бассейне неправильной формы. В школе я была чемпионкой по плаванию – отец очень этим гордился. Через год после революции он умер от сердечного приступа, потом правительство конфисковало наш дом и сад, и мы переехали в квартиру. Больше я никогда не плавала. Моя мечта осталась на дне этого бассейна. Мне снится один и тот же сон: как я ныряю туда, чтобы достать что-то из памяти своего отца, из своего детства. Все это она рассказывала, пока мы возвращались в гостиную; потом в дверь снова позвонили.

Пришли Азин и Митра. Азин снимала черную накидку, скроенную как кимоно – в то время накидки в японском стиле как раз вошли в моду. Под хиджабом на ней оказалась белая крестьянская блуза с открытыми плечами, без всякой претензии на скромность, и массивные золотые серьги. Губы были покрашены ярко-розовой помадой. Она принесла ветку мелких желтых орхидей и сказала, что это «от них с Митрой». Говорила она своеобразным тоном, который можно описать как кокетливо-недовольный.

Потом пришла Нассрин. Она принесла две коробки нуги – подарок из Исфахана. На ней была ее обычная униформа – темно-синяя накидка, темно-синий платок и чер-

ные туфли без каблуков. Когда я видела ее на занятиях в последний раз, она была в просторной черной чадре, открывающей лишь овал лица и две беспокойные кисти, которые в свободное от рисования и письма время постоянно двигались, словно пытаясь вырваться из оков плотной черной ткани. Потом она сменила чадру на длинные бесформенные накидки темно-синего, черного или темно-коричневого цветов с плотными платками тех же цветов, в которые пеленала свое лицо, убирая волосы. Лицо было маленькое и бледное, кожа такая прозрачная, что можно было посчитать все жилки; густые брови, длинные ресницы, живые глаза (карие), маленький прямой нос и сердитый рот – незаконченная миниатюра мастера, которого внезапно оторвали от работы, и он ушел, оставив в центре небрежно намалеванного темного фона тщательно прорисованные черты.

Вдруг на улице взвизгнули шины и скрипнули тормоза. Я выглянула в окно: старый маленький «рено» кремового цвета остановился у тротуара. За рулем сидел юноша в модных очках и черной рубашке с дерзким профилем; он облокотился об открытое окно с таким видом, будто вел «порше». Он разговаривал с сидевшей рядом женщиной, глядя прямо перед собой. Лишь однажды он повернул голову вправо, и наверно лицо его в тот момент было сердитым; тогда же женщина вышла из машины, а он в сердцах захлопнул за ней дверцу. Она зашагала к двери нашего дома; он высунулся из окна и прокричал ей вслед несколько слов, но она не оберну-

лась и не ответила. Старый «рено» принадлежал Саназ: она купила его на деньги, которые откладывала из зарплаты.

Я отвернулась от окна; увиденное заставило меня покраснеть. Это, должно быть, был ее несносный братец, подумала я. Через несколько секунд позвонили в дверь; я услышала на лестнице торопливые шаги Саназ и открыла ей дверь. Она выглядела испуганной, словно убегала от вора или преследователя. Но увидев меня, улыбнулась и, запыхавшись, произнесла: надеюсь, я не сильно опоздала?

В тот момент ее жизни над Саназ доминировали двое очень влиятельных мужчин. Первым был ее брат. Ему исполнилось девятнадцать лет, он еще не закончил школу и был родительским любимчиком – судьба наконец наградила их сыном после рождения двух дочерей, одна из которых умерла в возрасте трех лет. Он был избалован и помешан на Саназ. Он доказывал свою мужественность, повадившись шпионить за ней и подслушивать ее телефонные разговоры; он водил ее машину и следил за ее действиями. Родители пытались задобрить Саназ и умоляли ее как старшую сестру проявить терпение и понимание, взывая к ее материнским инстинктам, которые могли бы помочь юноше преодолеть этот трудный период.

Вторым мужчиной в жизни Саназ была ее детская любовь, парень, которого она знала с одиннадцати лет. Их родители были лучшими друзьями, и почти все время и отпуска семьи проводили вместе. Казалось, что Саназ и Али любили друг

друга всегда. Родители благоволили этому союзу и утверди-ли, что влюбленные созданы друг для друга. Шесть лет на-зад Али уехал в Англию, а его мать стала называть Саназ его невестой. Они переписывались, посылали друг другу фото-графии, а недавно, когда к Саназ начали стучаться другие поклонники, зашел разговор о помолвке и встрече в Турции, куда иранцы могли въезжать без визы. Поездка должна была состояться со дня на день, и Саназ со страхом и трепетом ждала этого события.

Я никогда не видела Саназ без хиджаба и сейчас стояла как замороженная, глядя, как она снимает накидку и платок. Под накидкой на ней оказалась оранжевая футболка, заправ-ленная в узкие джинсы, и коричневые сапоги, но что дела-ло ее совершенно неузнаваемой, так это копна блестящих темно-каштановых волос, обрамлявших лицо. Она встрях-нула своими великолепными волосами из стороны в сторо-ну – позднее я поняла, что у нее такая привычка, она часто встряхивала головой и проводила рукой по волосам, словно убеждалась, что ее самое драгоценное сокровище все еще на месте. Ее черты смягчились, засияли – в черном платке, ко-торый она повязывала на людях, ее маленькое лицо казалось изнуренным, черты почти жесткими.

Запыхавшись и проведя рукой по волосам, она извини-лась за небольшое опоздание. Брат настоял на том, чтобы от-везти меня, сказала она, но не захотел просыпаться вовремя. Он никогда не встает раньше десяти, но должен был прокон-

тролировать, куда я направляюсь. Вдруг я на тайную встречу пошла или на свидание.

Я волновалась, не будет ли у вас проблем из-за этих уроков, сказала я, приглашая их занять места вокруг столика в гостиной. Надеюсь, ваши родители и мужа не против наших встреч.

Нассрин бродила по комнате и разглядывала картины, будто видела их впервые. Она небрежно бросила, что вскользь упомянула о занятиях отцу, чтобы увидеть его реакцию, и тот высказал яростное неодобрение.

Как же ты уговорила его разрешить тебе прийти, спросила я? Я соврала, ответила она. Соврала? Ну да, а как еще можно поступить с человеком настолько авторитарным, что не позволяет своей дочери в *таком-то* возрасте ходить на занятия литературой в женскую группу? Кроме того, разве не так нужно относиться к режиму? Разве мы говорим правду Стражам Революции? Мы им врем и прячем наши спутниковые тарелки. Мы говорим, что у нас дома нет запрещенных книг и алкоголя. Даже мой почтенный папаша им врет, если на карту поставлена безопасность семьи, дерзко отвечала Нассрин.

А что если он позвонит мне и решит тебя проверить, спросила я, отчасти желая ее подразнить. Нет, не позвонит, сказала она. У меня превосходное алиби. Я сказала, что мы с Махшид вызвались волонтерками и помогаем переводить исламские тексты на английский. И отец тебе поверил, спросила

я? А с чего ему мне не верить, ответила она. Я раньше ему никогда не врала – по-крупному то есть – и я лишь сказала ему то, во что он хотел верить. К тому же он безоговорочно доверяет Махшид.

Так что же, если он мне позвонит, я должна ему соврать? Как хотите, отвечала Нассрин, ненадолго задумавшись и глядя на свои подвижные руки. А вы что же, считаете, надо сказать ему правду? Я услышала в ее голосе нотки отчаяния. У вас ведь не будет из-за меня неприятностей, спросила она?

Нассрин всегда вела себя так уверенно, что я порой забывала, насколько она на самом деле уязвима под личиной крутой девчонки. Я тебя не выдам, даже не думай, ласково ответила я. А ты, как сама сказала, уже взрослая девушка и знаешь, что делаешь.

Я устроилась на своем обычном месте напротив зеркала, где высились неподвижные горы. Странно смотреть в зеркало и видеть не себя, а далекий пейзаж. Махшид поколебалась и села справа от меня. Манна заняла место на кушетке ближе к правому краю, Азин – к левому; они инстинктивно держались друг от друга подальше. Саназ и Митра сели на двухместный диван, склонили друг к другу головы и принялись шептаться и хихикать.

В этот момент вошли Ясси и Нассрин и огляделись в поисках свободного места. Азин похлопала по кушетке, где еще пустовало местечко, и поманила Ясси. Та засомневалась, а потом села между Азин и Манной. Развалилась и почти не

оставила места двум соседкам, которые выпрямились и сели немного напряженно, каждая в своем углу. Без накидки Ясси выглядела полноватой, точно не избавилась еще от детского жирка. Нассрин пошла в столовую за стулом. Иди к нам, места хватит, сказала Манна. Нет, спасибо, ответила Нассрин, люблю сидеть на стульях с прямыми спинками. Вернувшись, она поставила стул между кушеткой и Махшид.

Они хранили верность этой рассадке до самого конца. Она стала символом их эмоциональных границ и личных отношений. Так началось наше первое занятие.

– *Энсилямба!* – воскликнула Ясси, когда я вошла в столовую с подносом, накрытым к чаепитию. Ясси любила игру слов. Однажды она призналась, что питает к словам нездоровую одержимость. Стоит узнать новое слово, и я чувствую, что должна использовать его в речи, говорила она – подобно тому, как, купив вечернее платье, женщина так хочет покрасоваться в нем, что надевает его и в кино, и на обед.

Позвольте сделать паузу и отмотать пленку на начало событий, предшествующих возгласу Ясси. Первое занятие у меня дома. Все нервничают, у всех отсох язык. Мы привыкли встречаться в общественных местах, главным образом в классах и лекционных залах. У всех девочек были со мной разные отношения, но кроме Нассрин и Махшид, которые были близкими подругами, и Митры с Саназ, которых можно было назвать приятельницами, девочки не общались друг с другом, и более того – ни за что не стали бы дружить в иных обстоятельствах. Неожиданно очутившись рядом в столь интимной обстановке, они испытывали неловкость.

Я объяснила им цель наших занятий: мы будем читать литературные произведения, обсуждать их и писать критику. У каждой студентки будет личный дневник, в котором она будет записывать свою реакцию на прочитанное и рассуждать, имеется ли связь между этими произведениями и на-

шим обсуждением, личным опытом и опытом пребывания в обществе. Я объяснила студенткам, что отобрала для занятий именно их, потому что их интерес к изучению литературы кажется мне устойчивым. Я также заметила, что одним из критериев выбора книг являлась вера их авторов в критическую и почти волшебную силу литературы, и напонила о девятнадцатилетнем Набокове, который во время Октябрьской революции не позволял себе отвлекаться на звуки выстрелов. Он писал свои одинокие стихи и одновременно слышал выстрелы и видел кровавые стычки под окнами. Через семьдесят лет и мы увидим, будет ли наша невозмутимая вера вознаграждена преобразованием мрачной реальности, созданной другой революцией – нашей собственной.

На первом занятии мы обсуждали «Тысячу и одну ночь», знакомую всем с детства сказку об обманутом царе, который убивал своих девственниц-жен, желая отомстить за измену царицы, и чья кровавая рука в конце концов была остановлена талантливой сказочницей Шахерезадой. Я сформулировала несколько общих вопросов для размышлений, и главный вопрос звучал так: как великие произведения, созданные человеческой фантазией, могут помочь нам в безвыходной ситуации, в которой оказались мы, женщины. Мы не искали готовых схем и легких решений; мы лишь надеялись проложить ниточку между нашей жизнью, представлявшей собой закрытое пространство, клетку, и романами, ставшими нашей отдушиной и свободным пространством. Пом-

ню, как зачитывала девочкам цитату из Набокова: «Читатели рождаются свободными и должны такими оставаться».

В рамочном сюжете «Тысяча и одной ночи» меня больше всего заинтересовали два типа изображаемых женщин – все они являлись жертвами несправедливости правителя. До того, как в сюжете возникла Шахерезада, героини делились на предательниц, которых затем убивают (царица), и тех, кого убивали до того, как у них появлялась возможность предать (девственницы). В отличие от Шахерезады, у девственниц в этой истории не было голоса, и литературные критики по большей части ничего о них не говорят. Однако молчание этих женщин существенно. Они отдают свою девственность и жизнь без сопротивления и протеста. Можно сказать, они даже не существуют; их смерть анонимна и не оставляет следа. Неверность царицы не лишает царя абсолютной власти; она просто выбивает его из равновесия. Оба типа героинь – царица и девственницы – молчаливо признают общественный авторитет царя и действуют в рамках установленных им правил, подчиняясь его нелогичным законам.

Шахерезада разбивает цикл насилия, устанавливая другие условия контракта. В отличие от царя, она строит свой мир не на физической силе, а на воображении и трезвом разуме. Это придает ей мужество рисковать жизнью; это и отличает ее от других героев сказки.

У нас было издание «Тысячи и одной ночи» в шести томах. К счастью, я купила эти книги до того, как их запретили

и стали продавать только на черном рынке по баснословной цене. Я раздала их девочкам и попросила к следующему занятию классифицировать сказки на основе действующих в них женских типов.

Дав им это задание, я попросила каждую рассказать, почему она захотела приходить сюда каждое утро в четверг и обсуждать Набокова и Джейн Остин. Отвечали девочки коротко и вымученно. Чтобы разрядить обстановку, я предложила отвлечься на чай с профитролями.

Это подводит нас к тому моменту, когда я вхожу в столовую со старым неотполированным серебряным подносом, на котором стоит восемь стаканчиков с чаем. Заваривание и сервировка чая в Иране – эстетический ритуал, исполняемый несколько раз в день. Чай мы подаем в прозрачных стаканках, маленьких, красивой формы; самая популярная форма – тюльпановидная: расширяющаяся кверху, узкая в середине и круглая и широкая у основания. Цвет и тонкий аромат чая свидетельствуют о мастерстве заварщицы.

Итак, я вхожу в гостиную и несу восемь стеклянных тюльпанов, в которых соблазнительно плещется медового цвета жидкость. В этот момент Ясси торжественно выкрикивает: «Эпсилямба!» Слово летит в меня, как мяч, и я мысленно подпрыгиваю и ловлю его.

Эпсилямба – это слово возвращает меня в весну 1994 года, когда Нима и четыре моих девочки посещали занятия по роману двадцатого века – не ради оценки, а просто так. У

группы, в которую они ходили, была любимая книга – «Приглашение на казнь» Набокова. В этом романе Набоков проводит различие между окружающими людьми и Цинциннатом Ц., одиноким и наделенным живым воображением героем. В обществе, где одинаковость является не только нормой, но и законом, Цинцинната Ц. отличает от других оригинальность. Даже в детстве, пишет Набоков, Цинциннат ценил свежесть и красоту языка, в то время как другие дети «понимали друг друга с полуслова, – ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на эпсиламбу<sup>10</sup>, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями».

Никто в классе не удосужился спросить, что значит это слово. Я имею в виду, никто из учеников текущей группы – ведь многие мои бывшие студенты продолжали посещать мои курсы уже после окончания университета. Занятия часто интересовали их больше, чем текущих студентов, приходивших ко мне ради оценок, и учились они усерднее. Так и вышло, что старшие студенты, слушавшие мои лекции не ради оценок, а для себя – Нассрин, Манна, Нима, Махшид и Ясси – однажды собрались в моем кабинете, чтобы обсудить эту тему и другие.

---

<sup>10</sup> У Набокова в русском варианте романа (это цитата из него) – ижица. *Эпсилямба* (*upsilamba*) – это перевод слова *ижица* на английский, придуманный самим автором, несуществующая буква, составленная из названия двух букв древнегреческого алфавита – *эпсилон* и *лямбда*. (Что интересно, первая буква действительно напоминает птицу, а вторая – раздвоенный конец пращи.)

Я решила сыграть с учениками в игру, проверить их любознательность. Один из вопросов на экзамене в середине семестра звучал так: «Объясните значение слова *эпсилямба* в контексте „Приглашения на казнь“. Что оно означает и как соотносится с главной темой романа?» За исключением четырех-пяти студентов никто не знал ответ на этот вопрос, и я постоянно напоминала группе об этом весь остаток семестра.

Правда же в том, что Набоков придумал *эпсилямбу*, вероятно, сложив два слова – «эпсилон», двадцатую букву древнегреческого алфавита, и «лямбда», одиннадцатую. В первый день нашего тайного класса мы позволили себе поиграть и изобрести новые, собственные смыслы этого слова.

У меня *эпсилямба* ассоциировалась с невероятным восторгом прыжка, чувством зависания в воздухе. Ясси, которая беспричинно разволновалась, воскликнула, что *эпсилямбой* мог бы называться танец – «давай, детка, станцуем *эпсилямбу*». Я предложила, чтобы каждая девочка к следующему занятию написала одно-два предложения, объясняющие смысл этого слова.

Манна написала, что при слове «*эпсилямба*» представляет маленькую серебристую рыбку, выпрыгивающую из подлунного озера. Нима в скобках подписал: вот вам моя *эпсилямба*, чтобы не забывали обо мне, хоть и исключили меня из своего класса! Для Азин *эпсилямба* была звуком, мелодией. У Махшид сложился такой образ: три девочки прыгают

через скакалку и кричат «Эпсилямба!» при каждом прыжке. Для Саназ это слово оказалось тайным волшебным именем маленького мальчика из Африки. Митре оно почему-то напомнило блаженный вздох. Для Нассрин «эпсилямба» являлась шифром, отворяющим дверь в потайную пещеру, полную сокровищ.

Эпсилямба положила начало нашей растущей коллекции тайных слов и фраз – коллекции, которая со временем ширилась, пока у нас не появился собственный тайный язык. Это слово стало символом, признаком смутной радости, мурашек, которые, по мнению Набокова, должны пробегать по спине читателей художественной литературы. Это ощущение отделяет «хороших» читателей от «обычных». Потом эпсилямба стала кодовым словом, открывающим тайную пещеру памяти.

В предисловии к английскому изданию «Приглашения на казнь» (1959) Набоков напоминает читателям, что его роман не относится к разряду *tout pour tous* – «всё для всех». «Это голос скрипки в пустоте», – пишет он. «Но... я знаю нескольких читателей, которые вскочат на ноги, схватив себя за волосы»<sup>11</sup>, – продолжает он. И с этим не поспоришь. Оригинальная версия романа, рассказывает Набоков, публиковалась частями в 1935 году. Почти шестьдесят лет спустя в мире, которого Набоков не знал и, вероятно, не смог бы постичь никогда, в одинокой гостиной с окнами, выходящими на далекие заснеженные горы, я снова и снова наблюдала, как мои читательницы Набокова – а сам Набоков, пожалуй, и представить не мог, что его книги попадут в такие руки, – забывшись, в исступлении хватали себя за волосы.

«Приглашение на казнь» начинается с объявления: щедушный главный герой романа Цинциннат Ц. приговаривается к смерти за «гносеологическую гнусность» – там, где от всех граждан требуют «прозрачности», он «непрозрачен». Основной характеристикой мира, где живет Цинциннат, является его нелогичность; у приговоренного есть лишь одна привилегия – он может узнать точное время своей казни, но

---

<sup>11</sup> Все цитаты Набокова здесь – не перевод с английского, а собственно цитаты Набокова.

палачи утаивают от Цинцинната и это. Таким образом, каждый день превращается для него в день казни. По мере развития сюжета читатель с растущим дискомфортом обнаруживает искусственность этого странного места. В окно светит ненастоящая луна; ненастоящий и паук в углу, который, по традиции, должен стать заключенному верным спутником. Директор тюрьмы, тюремщик и адвокат оказываются одним и тем же человеком, появляющимся в разных местах. Самый важный персонаж, палач, сперва предстает перед заключенным под другим именем – м-сье Пьер – и притворяется арестантом. Палач и осужденный должны научиться любить друг друга и сотрудничать в процессе казни, за которой следует шумное пиршество. В этом постановочном мире единственным окном Цинцинната в другую вселенную является его литературное творчество.

Мир романа состоит из пустых ритуалов. Все действия в нем лишены содержания и смысла, даже смерть становится спектаклем, на который добропорядочные граждане покупают билеты. Благодаря этим бессмысленным ритуалам и осуществляется жестокость. В другом романе Набокова, «Истинная жизнь Себастьяна Най-та», Себастьян находит в библиотеке покойного брата две совершенно разные картинки: на одной красивый кучерявый ребенок играет с собакой, на другой китайцу отрубают голову. Картинки напоминают о тесной связи повседневности и жестокости. У Набокова для этого есть особое русское слово: пошлость.

Пошлость, объясняет Набоков, это «не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность». В повседневной жизни примеров пошлости немало – от слащавых речей политиков и заявлений некоторых писателей до цветных цыплят. Что за цыплята, спросите вы? Их продают уличные торговцы – любой, кто жил в Тегеране в одно время со мной, поймет, о чем речь. Этих цыплят окунают в краску – кричаще-розовую, огненно-красную, бирюзовую – чтобы сделать их более привлекательными. Или пластиковые цветы – розовые с голубым искусственные гладиолусы, которыми украшают университет и в праздники, и в траур.

В «Приглашении на казнь» Набоков изображает не физическую боль и пытки тоталитарного режима, а воссоздает атмосферу кошмара наяву, который представляет собой жизнь в постоянном страхе. Цинциннат Ц. ослаблен, пассивен, он – герой, не подозревающий об этом и не признающий себя героем; он борется со своими инстинктами, а его записи помогают ему уйти от реальности. Он герой, потому что отказывается становиться похожим на остальных.

В отличие от других антиутопий, силы зла в «Приглашении на казнь» не всемогущи; Набоков демонстрирует их уязвимость. Зло не всесильно, и его можно победить, но это не преуменьшает трагедию и ущерб. Роман написан от лица жертвы, человека, который видит нелепую искусственность

своих преследователей и должен уйти в себя, чтобы выжить. Жители Исламской Республики Иран осознавали трагизм, абсурд и жестокость своей ситуации. Чтобы выжить, нам приходилось смеяться над своим несчастьем. Мы также инстинктивно чувствовали пошлость не только в окружающих, но и в себе. Именно по этой причине искусство и литература стали такой важной частью нашей жизни: они являлись для нас не роскошью, а необходимостью. Набокову удалось запечатлеть саму текстуру существования в тоталитарном обществе, где человек одинок в иллюзорном мире ложных обещаний и не способен отличить спасителя от палача.

Хотя проза Набокова очень сложна, у нас с ним образовалась особая связь. И не только потому, что мы идентифицировали себя с темами его романов. В его книгах все устроено вокруг невидимых ловушек, внезапных «подножек», когда из-под ног читателя постоянно выдергивают ковер. Они полны недоверия к так называемой «повседневной реальности» и пронизаны ощущением ее хрупкости и изменчивости.

В жизни и прозе Набокова было что-то такое, в чем мы инстинктивно углядели родство и ухватились за него, – за эту перспективу безграничной свободы в отсутствие всякого выбора. Полагаю, именно это и сподвигло меня на создание моей домашней группы. Университет связывал меня с внешним миром, и теперь, обрубив эту нить и стоя на краю бездны, я могла позволить бездне себя поглотить, а могла взять в руки скрипку.

Два групповых снимка следует поставить рядом. Оба символизируют «зыбкую нереальность» нашего существования в Исламской Республике Иран («зыбая нереальность» – так Набоков описывал свое состояние в изгнании). Одна фотография отрицает другую, и вместе с тем по отдельности обе кажутся неполными. На первом снимке, в черных платках и покрывалах, мы являемся воплощением чьей-то чужой мечты. На второй мы предстаем такими, какими видим себя в собственных мечтах. Ни там, ни там нам на самом деле не место.

Второй снимок изображает мир внутри моей гостиной. Но снаружи, под окном, обманчиво показывающем мне лишь горы и дерево у нашего дома, находится другой мир, где злые ведьмы и фурии ждут не дождутся возможности превратить нас в существ с первого снимка, укутанных в черное.

Жизнь в этом аду, полном парадоксов и самоотрицания, лучше всего объяснить с помощью поучительной истории, которая, как все подобные истории, настолько символична, что если и есть в ней капля вымысла, это уже неважно.

Верховный цензор иранского кинематографа, занимавший этот пост до 1994 года, был слеп. Точнее, почти слеп. До этого он служил театральным цензором. Мой друг-драматург рассказывал, как цензор сидел в театре в очках с тол-

стыми стеклами, которые, казалось, скорее ухудшали, чем улучшали видимость. Сидевший рядом помощник комментировал происходящее на сцене, а цензор диктовал, какие части спектакля нужно вырезать.

В 1994 году цензор возглавил новый телеканал. Там он усовершенствовал свои методы и теперь требовал, чтобы сценаристы представляли ему сценарии на аудио-пленках; при этом запрещалось читать их выразительно или использовать какие-либо дополнительные методы «улучшения». Цензор выносил решение, прослушивая пленки. Но вот что любопытно: его преемник хоть и не был слеп – по крайней мере, физически – взял на вооружение ту же систему.

Наш мир под властью мулл формировался слепыми цензорами, взиравшими на него сквозь бесцветные линзы очков. В мире, где цензоры конкурировали с поэтами и наряду с последними перестраивали и переформировывали реальность, где нам приходилось одновременно искать свое место и служить порождениями чьего-то воображения, этому странному обесцвечиванию подвергалась не только наша реальность, но и наша литература.

Мы жили в культуре, где отрицалась ценность литературных произведений; те считались важными, лишь если при служивали чему-то еще более важному – а именно идеологии. В этой стране любое действие, даже самое интимное, считалось политически окрашенным. Символами западного упадничества и империалистических тенденций считались

цвет моего платка и цвет отцовского галстука. Отсутствие бороды, ритуал обмена рукопожатиями с людьми противоположного пола, хлопанье в ладоши и свист на многолюдных сборищах – все это считалось западным и, следовательно, упадническим элементом империалистического заговора по ниспровержению нашей культуры.

Несколько лет назад члены иранского парламента учредили следственную комиссию с целью оценить содержание программ национального телевидения. Комиссия выпустила длинный отчет, в котором осуждался показ «Билли Бадда»<sup>12</sup>, поскольку фильм, по словам цензоров, пропагандировал гомосексуальность. Самое смешное, что иранские телевизионщики изначально выбрали этот фильм для показа именно потому, что в нем не было женщин. Подвергся разному и мультимедиа «Вокруг света за 80 дней»: его главный герой лев был британцем, а действие фильма заканчивалось в Лондоне – оплоте империализма.

Вот в каком контексте проходили наши занятия; хотя бы на несколько часов в неделю мы пытались сбежать от ока слепого цензора. Именно там, в этой гостинице, к нам возвращалась вера, что и мы являемся живыми людьми, которые дышат и существуют; и каким бы репрессивным ни становилось наше государство, какими бы запуганными и задавлен-

---

<sup>12</sup> Британский фильм 1962 года режиссера Питера Устинова по одноименной новелле Германа Мелвилла рассказывает историю моряка, которого обвиняют в планировании мятежа. Новелла Мелвилла действительно считается одним из примеров ЛГБТ-литературы.

ными мы себя ни чувствовали, мы пытались сбежать от этого и урвать свой собственный островок свободы, как Лолита. Как Лолита, мы при любой возможности бравировали неподчинением: позволяли пряди волос выбиться из-под платка, а небольшому цветному пятнышку – проникнуть в скучное однообразие наших одеяний. Мы отращивали длинные ногти, влюблялись и слушали запрещенную музыку.

Нашими жизнями правило абсурдное ощущение нереальности происходящего. Мы пытались жить на своих островках свободы, в кармашках, существующих между этой комнатой, ставшей нашим защитным коконом, и миром цензора, внешним миром, где обитали ведьмы и гоблины. Какой из этих миров был более реальным и к какому мы на самом деле принадлежали? Мы уже не знали ответа на этот вопрос. Наверно, у нас остался лишь один способ узнать правду – продолжать делать то, что мы делали. Пытаться образно описать эти два мира и в процессе придать форму своему видению и своей идентичности.

Как воссоздать этот другой мир за пределами гостиной? Мне ничего не остается, кроме как снова воззвать к вашему воображению. Представим одну из девочек, скажем, Саназ; вот она выходит из моего дома; проследуем за ней от дверей до пункта ее назначения. Она прощается, надевает черную накидку и платок поверх оранжевой футболки и джинсов, обворачивает платок кольцом вокруг шеи, пряча массивные золотые серьги. Убирает под платок растрепавшиеся пряди волос, кладет тетрадку в большую сумку, вешает сумку на плечо и выходит в подъезд. На лестничной клетке ненадолго останавливается и надевает тонкие черные кружевные перчатки, пряча покрашенные лаком ногти.

Вслед за Саназ мы спускаемся по лестнице, открываем дверь и выходим на улицу. Там вы можете заметить, что ее походка и жесты изменились. Сейчас ей лучше стать незаметной, тише воды, ниже травы. Она идет, не расправив плечи, а наклонив голову к земле и не глядя на прохожих. Шаг ее быстр и решителен. Улицы Тегерана и других иранских городов патрулирует народное ополчение; эти люди разъезжают в белых тойотах по четверо, иногда мужчины, иногда женщины, но непременно вооруженные; бывает, следом идет микроавтобус. «Кровь Бога» – так их зовут. Они патрулируют улицы с целью убедиться, что женщины – такие, как Саназ

– правильно носят хиджаб, не накрашены, не ходят в общественных местах с мужчинами, если те не приходится им отцами, братьями или супругами. Саназ проходит мимо лозунгов на стенах, цитат Хомейни и движения, называющего себя «Партией Бога»<sup>13</sup>: «Мужчина в галстуке – лакей США!», «Чадра защищает женщину». Рядом с лозунгом углем нарисована женщина: невыразительное лицо обрамлено черной чадрой. «Сестра моя, следи за своей чадрой. Брат мой, следи за своими глазами».

Если Саназ сядет в автобус, мы увидим, что места для женщин и мужчин там разграничены. Она должна зайти в заднюю дверь и сесть на задние ряды, предназначенные для женщин. При этом в такси, которым разрешено перевозить пятерых пассажиров, мужчины и женщины набиваются, как кильки в бочку. То же касается маршруток – многие мои студентки жаловались на харассмент в маршрутке со стороны бородатых богобоязненных мужчин.

Вам, верно, интересно, о чем думает Саназ, шагая по улицам Тегерана? Как влияет на нее этот опыт? Скорее всего, она старается максимально отдалиться от происходящего вокруг. Возможно, она думает о брате или своем женихе, который сейчас далеко; представляет, как они встретятся в Турции. Сравнивает ли она себя с матерью, когда та была в том же возрасте? Злится ли, что женщины поколения ее матери могли свободно ходить по улицам, общаться с противополо-

---

<sup>13</sup> Так переводится с арабского «Хезболла».

ложным полом, служить в полиции, становиться летчицами, жить в стране, законодательство которой считалось одним из самых прогрессивных в отношении женщин? Чувствует ли она себя униженной новым законодательством, тем, что после революции возраст вступления в брак уменьшили с восемнадцати до девяти лет, а за супружескую измену и проституцию снова забивают камнями?

За два десятилетия тегеранские улицы превратились в зону боевых действий, где молодых женщин, не подчиняющихся правилам, затаскивают в патрульные машины и отвозят в тюрьму, подвергают порке, штрафуют, заставляют мыть туалеты и унижают. Однако, отбыв наказание, эти женщины возвращаются на улицы и делают все то же самое. Осознает ли Саназ свою силу? Осознает ли свою опасность для общества, ведь любой ее случайный жест может потревожить общественный порядок? Думает ли о том, как уязвимы Стражи Революции, которые уже более восемнадцати лет патрулируют улицы Тегерана и вынуждены терпеть молодых девушек вроде нее и женщин других поколений, что ходят по улицам, болтают и нарочно не поправляют выбившуюся из-под платка прядь волос просто чтобы напомнить окружающим, что они не обратились в новую веру.

Вместе с Саназ мы дошли до ее дома и там оставим ее на пороге. Возможно, за дверью ее ждет брат, а все ее мысли – о женихе.

У этих девочек – моих девочек – было две истории, реаль-

ная и сфабрикованная. Хотя все они вышли из разных слоев общества, правящий режим пытался уравнивать их личности и личные истории. Для режима они были мусульманскими женщинами, и им ни на миг не удавалось сбросить с себя этот ярлык.

Кем бы мы ни были, к какой бы вере ни принадлежали, добровольно ли носили хиджаб или вынужденно, соблюдали ли определенные религиозные нормы или нет – независимо от этого мы все являлись фрагментами чужой мечты. Нашей землей стал править суровый аятолла, самопровозглашенный царь-философ. Он воцарился здесь от имени прошлого – прошлого, которое, по его словам, у него украли. Теперь он желал воссоздать нас по образу и подобию этого иллюзорного прошлого. И он никогда бы не сделал с нами того, что сделал, если бы мы ему не позволили. Но утешало ли это нас теперь? Хотели ли мы об этом вспоминать?

Удивительно, но когда у человека забирают все возможности, малейший зазор таит в себе огромный потенциал свободы. Собираясь вместе, мы ощущали почти абсолютное освобождение. Это чувство витало в воздухе тем первым утром в четверг. Я подготовила план занятий и выбрала несколько книг, но была готова следовать настроением группы и в соответствии с ними изменять план; я не собиралась наступать на горло их песне – пусть звенит посреди бездны, наполняя и меняя ее своим звучанием.

Я часто спрашиваю себя: я ли выбрала девочек для участия в этих занятиях или они выбрали меня? Приглашая их участвовать, я держала в голове некоторые критерии, но эта группа создалась благодаря им; это они невидимой рукой подвели меня к тому, что я наблюдаю сейчас в своей гостиной.

Взять самую младшую девочку, Ясси. На первом снимке та стоит с задумчивым лицом. Голова наклонена вбок, словно она не знает, какое выражение лица будет более подходящим к случаю. На ней тонкий бело-серый шарф, небрежно повязанный на горле – формальный признак принадлежности к строго религиозной семье. Ясси была первокурсницей, но в последний год моей работы в университете ходила на все занятия для выпускного курса. Она тушевалась пе-

ред старшекурсниками, считая, что те просто в силу своего старшинства не только обладают более обширными знаниями и лучше владеют английским, но и умнее в целом. Хотя она понимала самые сложные тексты лучше многих дипломников, усердно читала все заданное по программе и любила чтение сильнее большинства, она была уверена лишь в одном – в своей ужасной неуверенности.

Примерно через месяц после того, как я втайне решила уволиться из Алламе Табатабаи, мы с Ясси стояли у зеленых ворот перед входом в университет. Сейчас эти зеленые ворота – самое четкое мое воспоминание об университете. Много лет каждый будний день я проходила мимо них как минимум дважды, но все же не могу детально нарисовать их в своем воображении. В моих воспоминаниях чугунные ворота приобретают эластичность и становятся волшебной дверцей, существующей отдельно от стен, охраняющих университетскую территорию. И все же я помню их границы. У ворот открывалась только одна створка и вела на широкую улицу, которая, казалось, уходила прямо в горы. По другую сторону раскинулся небольшой сад, принадлежавший кафедре персидского языка и иностранных языков и литературы; сад, где вокруг маленького потрескавшегося декоративного фонтана со сломанной статуей в центре безводной чаши росли персидские розы и другие цветы-эндемики.

Памятью о зеленых воротах я обязана Ясси – она упоминает их в одном из своих стихотворений. Оно называется

«Как мало все то, что я люблю». В этом стихотворении она описывает свои любимые предметы: оранжевый рюкзак, яркое пальто, велосипед, такой же, как у ее двоюродной сестры; а также рассказывает, как нравится ей входить в университет через зеленые ворота. Ворота появляются в этом стихотворении и в нескольких других и служат волшебной дверью в запретный мир обычных предметов, которых ее лишили в жизни.

На самом деле зеленые ворота были всегда закрыты для Ясси и для всех моих девочек. Рядом с ними в стене был устроен небольшой проем, занавешенный портьерой. Выглядел он настолько несуразно и чужеродно, что привлекал взгляды – разинутый рот в стене, вззирающий на прохожих с высокомерной наглостью незваного гостя. Через этот проем проходили все студентки, и мои девочки тоже, попадая оттуда в маленькую темную комнату, где велся досмотр. Позже, много позже после той нашей первой встречи, Ясси рассказывала, что с ней делали в этой комнате. «Сначала проверяли, правильно ли я одета – цвет пальто, длина формы, плотность шарфа, фасон обуви, содержимое сумки, следы даже легчайшего макияжа, размер колец и степень их броскости – все проверялось, прежде чем меня пускали на территорию университета – университета, где также учились мужчины. Для мужчин главные ворота – высоченные, широченные, украшенные эмблемами и флагами – всегда были великодушно распахнуты».

Маленький проем в стене служил источником бесконечных историй об унижениях, гневе и печали. Его задумывали, чтобы сделать девочек обычными и незаметными. Но вместо этого он акцентировал на них внимание и превращал их в объект, вызывающий любопытство.

Представьте Ясси, которая стоит со мной рядом у зеленых ворот; мы смеемся и шепчемся, как заговорщицы, стоя близко друг к другу. Она рассказывает об учителе исламской морали и перевода. Тюфяк, похожий на Тестовичка из рекламы смесей для выпечки, шепнула она. Через три месяца после смерти супруги он женился на ее младшей сестре, потому что у мужчины – тут Ясси понизила голос – «у мужчины есть потребности».

Потом она снова заговорила серьезным тоном и принялась описывать его недавнюю лекцию о различиях ислама и христианства. На миг она преобразилась в этого коротышку с мучнистым лицом, стоящего у доски с куском розового мела в одной руке и белого мела в другой. С одной стороны он большими белыми буквами написал: «МУСУЛЬМАНСКАЯ ДЕВУШКА» – и провел вертикальную линию по центру доски. С другой стороны большими розовыми буквами написал «ХРИСТИАНСКАЯ ДЕВУШКА». Затем спросил у группы, знают ли они, в чем разница между этими двумя. Наконец после неловкой паузы сам ответил на свой вопрос: одна из них девственница, сказал он, невинная и чистая, бережет себя для будущего мужа и только для него. Сила ее – в

ее скромности. Другая – ну что о ней можно сказать, кроме того, что она не девственница. К удивлению Ясси, две девушки, сидевшие позади, – обе активные участницы Мусульманской студенческой ассоциации – захихикали и прошептали: *неудивительно, что все больше мусульманок сейчас обращаются в христианство.*

Мы стояли посреди широкой улицы, смеялись – редкий случай, когда осторожная улыбка Ясси – она улыбалась краешком губ – стерлась с лица, сменившись прятавшимся под ней безудержным весельем. На большинстве фотографий с ней этого смеха не видно; она стоит в отдалении от остальных, словно показывая, что как самая младшая в нашей группе знает свое место.

Подобные истории мои студентки вспоминали почти каждый день; мы смеялись над ними, а позже злились и расстраивались, хоть и бесконечно пересказывали их на вечеринках, за чашками кофе, в очереди за хлебом и в такси. Казалось, что сам факт пересказа этих историй давал нам над ними власть; наш уничижительный тон, наши жесты, даже наш истерический смех уменьшали этот тягостный груз.

В тот момент солнечной близости я предложила Ясси съесть по мороженому. Мы пошли в маленькое кафе, сели напротив друг друга с двумя кофе-глясе в высоких стаканах, и тут наше настроение переменялось. Мы если не поумрачнели, то посерьезнели. Ясси происходила из семьи просвещенных мусульман, сильно пострадавших от революции.

Им казалось, что Исламская Республика предает ислам, а не отстаивает его каноны. В начале революции мать Ясси и ее старшая тетка вступили в прогрессивную группу мусульманских женщин; когда новое правительство обрушилось на своих бывших сторонников, женщины были вынуждены уйти в подполье. У этой тети было четыре дочери, все старше Ясси, и все они так или иначе поддерживали оппозиционную группу, ставшую популярной у молодых религиозных иранок. Всех, кроме одной, арестовали, пытали и посадили в тюрьму. Когда их выпустили, в течение года все они вышли замуж почти за кого попало, словно в спешке отрешиваясь от своей прежней бунтарской сути. Ясси казалось, что хотя из тюрьмы они освободились, снаружи их ждали другие оковы – оковы традиционного брака.

А я считала настоящей бунтаркой саму Ясси. Она не вступала ни в одну политическую группу и организацию. Подростком она пошла наперекор семейным традициям и, несмотря на сильнейшее сопротивление родных, занялась музыкой. В ее семье было запрещено слушать любую музыку, кроме религиозной, даже по радио, но Ясси настаивала на своем. Она была маленькой Золушкой и жила, укрывшись ото всех во дворце с неприступными стенами, а любила невидимого принца, который однажды должен был услышать ее музыку.

Ее бунтарство этим не ограничилось; она не вышла замуж за подходящего жениха в подходящее время и уехала из род-

ного Ширази, чтобы учиться в тегеранском колледже. Теперь она жила на два дома: у старшей сестры и ее мужа и в доме дяди, склонного к религиозному фанатизму. Университет с его низким качеством обучения, шаткой моралью и идеологическими ограничениями оказался для нее разочарованием. В некоторой степени там она чувствовала себя даже более ограниченной, чем дома, где ей повезло расти в любящей и высокоинтеллектуальной среде. Утрата этой любви и теплоты стоила ей множества бессонных ночей. Она скучала по родителям и семье и чувствовала вину за боль, которую им причинила. Позже я узнала, что из-за чувства вины у нее развились длительные парализующие мигрени.

Но что ей было делать? Она не верила в политику и не хотела замуж, но ей было любопытно, какая она – любовь. В тот день, сидя напротив меня и теребя ложку, она объяснила, почему все обычные поступки стали маленьким бунтом и актом политического неповиновения для нее и таких же, как она, молодых людей. Всю жизнь ее от всего берегли. Никогда не выпускали из виду; не было у нее никогда своего личного уголка, где можно было размышлять, мечтать, чувствовать, писать. Ей не разрешали встречаться с молодыми людьми один на один. Ее семья не только указывала, как ей вести с мужчинами, – родные, похоже, думали, что могут за нее решать, что чувствовать по отношению к мужчинам. Что кажется естественным такой, как вы, призналась она, мне представляется незнакомым и странным.

Смогла бы она когда-нибудь жить, как я, – жить сама по себе, подолгу гулять, держась за руки с любимым человеком, может, даже завести маленькую собачку? Она не знала. Хиджаб больше ничего для нее не значил, но без него она почувствовала бы себя потерянной. Она всегда носила хиджаб. Хотела ли она его носить? Она не знала. Я помню жест, который она сделала, произнеся эти слова – взмах рукой у лица, будто она отгоняла невидимую муху. Она сказала, что не может представить Ясси без хиджаба. Как она будет выглядеть? Изменится ли ее походка, ее жесты? Как посмотрят на нее окружающие? Станет ли она умнее или глупее? Она была одержима этими вопросами, как своими любимыми романами Остин, Набокова и Флобера.

Она снова повторила, что никогда не выйдет замуж – ни за что! Достоянная ей пара всегда существовала только в книгах, и она проведет остаток жизни с мистером Дарси. Но даже в литературе попадалось мало достойных мужчин. Однако что в этом плохого? Она хотела уехать в Америку – как ее дяди, как я. Ее матери и теткам уехать не разрешили, но дядям выпала такая возможность. Сумеет ли она однажды преодолеть все препятствия и уехать в Америку? И надо ли ей это делать? Она хотела, чтобы я дала ей совет. Они все этого хотели. Но что я могла ей предложить – ей, которая жаждала от жизни гораздо большего, чем было ей дано?

В этой реальности я не могла дать ей ничего, поэтому рассказала о «другом мире» Набокова. Я спросила, заме-

тила ли она, что в большинстве его романов – «Приглашение на казнь», «Под знаком незаконнорожденных», «Ада», «Пнин» – всегда присутствовала тень другого мира, того, куда попасть можно лишь с помощью вымысла. Этот мир не дает героям и героиням Набокова впасть в полное отчаяние и становится их прибежищем в жизни, где жестокость является чем-то будничным.

Взять, к примеру, «Лолиту». «Лолита» – история двенадцатилетней девочки, которой некуда деться. Гумберт попытался превратить ее в свою фантазию, в свою умершую любовь, и тем уничтожил. Отчаянная правда «Лолиты» не в изнасиловании двенадцатилетней грязным стариком, вовсе нет; а в *конфискации жизни одного человека другим*. Мы не знаем, кем стала бы Лолита, если бы Гумберт не поглотил ее. И вместе с тем роман, законченная работа, полон надежды и даже красоты; он написан не только в защиту красоты, но в защиту жизни – обычной повседневной жизни и всех нормальных радостей, которых Лолита, как Ясси, была лишена.

Разгорячившись и вдруг испытав прилив вдохновения, я добавила, что Набоков, по сути, отомстил всем, кто лишил нас иной реальности, кроме как существующей в их голове; он отомстил и аятолле Хомейни, и последнему жениху Ясси, и тюфяку-учителю с мучнистым лицом. Они пытались слепить из нас то, что видели в своих мечтах и желаниях, но в Гумберте Набоков разоблачил всех солипсистов, присвоивших себе чужие жизни. Она, Ясси, обладала большим потен-

циалом; она могла стать кем угодно – хорошей женой, учительницей, поэтессой. Сейчас важно было понять, кем она хотела быть.

Я рассказала ей об одном из своих любимых рассказов Набокова – «Комната волшебника»<sup>14</sup>. Сначала он хотел назвать его «Человек из подполья». В рассказе говорится об одаренном писателе и критике, в жизни которого было две великие страсти – литература и кино. После революции все, что он любил, запретили, загнали в подполье. Он решает прекратить писать и зарабатывать на жизнь, пока коммунисты у власти. Почти не выходит из своей маленькой квартиры. Временами оказывается на грани голодной смерти; он и умер бы, если бы не преданные друзья, ученики и немного денег, оставшихся от родителей.

Я описала его квартиру во всех подробностях. Она была пустой и ужасала своей белизной: белыми были стены, кафель, даже шкафы на кухне. Гостиную украшала лишь большая картина на пустой стене напротив входной двери. На ней были деревья, нарисованные густыми выпуклыми мазками разных оттенков зеленого: зелень поверх зелени. Источника света на картине не было, но деревья светились будто бы внутренним сиянием, исходящим не от солнца, а от них са-

---

<sup>14</sup> Этого рассказа не существует. Нафиси чуть позже скажет об этом; под видом героя выдуманного ей самой рассказа Набокова она описывает своего друга, реально существующего иранского литературного критика, о котором пишет и в других своих мемуарах; неизменно она скрывает его настоящее имя, называя его «волшебником».

мих.

Из мебели в комнате волшебника имелся один коричневый диван, маленький столик и два одинаковых стула. Кресло-качалка стояло, словно брошенное, между гостиной и столовой. Перед ним лежал маленький ковер, подарок уже забытой потерянной возлюбленной. В этой комнате, на этом диване человек из подполья принимал своих гостей, проходивших тщательный отбор. Среди них были знаменитые кинорежиссеры, сценаристы, художники, писатели, критики, бывшие ученики и друзья. Они приходили спросить совета по поводу своих фильмов, книг и возлюбленных; хотели знать, как можно обойти правила, как обмануть цензора или продолжить тайную любовную связь. Так он становился режиссером их профессиональной и личной жизни. Часами он мог объяснять структуру идеи или монтировать фильм в монтажной. Кому-то советовал, как помириться с любимыми. Другим говорил, что если те хотят лучше писать, нужно влюбиться. Он читал почти всю литературу, которую публиковали в Советском Союзе, и каким-то образом был в курсе последних лучших фильмов и книг, вышедших за границей.

Многие желали быть частью его тайного королевства, но он выбирал лишь нескольких, тех, кто проходил его секретную проверку. Он сам формировал свой круг, принимая и отвергая людей по своим причинам. Взамен помощи он просил друзей никогда не признавать его участие и не упоми-

нать его имени вслух. Он вычеркнул многих из своей жизни, потому что те нарушили это требование. Помню одну фразу, которую он часто повторял: «Хочу, чтобы меня забыли; не хочу быть членом этого клуба».

Ясси смотрела на меня такими глазами, что это побудило меня развивать и придумывать историю дальше. Она напонила мне меня, какой я, наверное, была в самом детстве, когда отец по вечерам и рано утром перед уходом на работу садился на край моей кровати и рассказывал сказки. Когда он злился на меня за что-нибудь, хотел, чтобы я что-то сделала или желал меня успокоить, он брал самые скучные подробности повседневной жизни и превращал их в сказку, полную внезапностей и поворотов, от которых у меня перехватывало дыхание.

В тот день я не сказала Ясси, что волшебника из рассказа Набокова, человека, который представлял для государства такую же опасность, как вооруженный мятежник, на самом деле не существовало – точнее, не существовало на бумаге. Это был реальный человек, который жил меньше чем в пятнадцати минутах от того места, где мы с ней сейчас сидели и рассеянно помешивали кофе в высоких стаканах длинными ложечками.

Тогда-то я и предложила Ясси участвовать в моих занятиях.

Я попросила вас представить нас, вообразить, как мы читаем «Лолиту» в Тегеране – роман о человеке, который, стремясь обладать двенадцатилетней девочкой и заполучить ее, косвенно становится причиной смерти ее матери, Шарлотты; таким образом девочка попадает в его ловушку и остается там на следующие два года, превращаясь в его любовницу. Удивлены ли вы таким выбором? Почему «Лолита»? Почему «Лолита» в Тегеране?

Хочу снова подчеркнуть, что мы не были Лолитами, а аятолла не был Гумбертом; наша республика не была тем, что Гумберт называл своим «княжеством у моря»<sup>15</sup>. «Лолита» не являлась критикой Исламской Республики, но любому тоталитарному режиму этот роман стоял поперек горла.

Давайте вспомним момент, когда Гумберт приезжает забрать Лолиту из летнего лагеря после смерти ее матери, о которой девочка пока не догадывается. Эта сцена – прелюдия к последующему двухлетнему плену, во время которого Лолита, не до конца понимающая, что происходит, переезжает из мотеля в мотель со своим стражем-любовником:

«Хочу на минуту продлить эту сцену со всеми её мелочами и роковыми подробностями. Карга, выписывающая расписку, скребущая голову, выдвигающая ящик стола, сыплю-

<sup>15</sup> Отсылка к стихотворению Эдгара По «Аннабель Ли».

щая сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом аккуратно раскладывая поверх монет несколько ассигнаций с бодрым возгласом: „и вот ещё десять!“; фотографии девчоночек; ещё живая цветистая бабочка, надёжно приколотая к стенке (отдел природоведения); обрамлённый диплом диетолога; мои дрожащие руки; отзыв, приготовленный усердной начальницей о поведении Долли Гейз за июль („весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей“); шум деревьев и пение птиц, и моё колотящееся сердце... Я стоял спиной к открытой двери и вдруг почувствовал прилив крови к голове, услышав за собой её дыхание и голос».

Хотя в «Лолите» есть более впечатляющие сцены, чем эта, она демонстрирует мастерство Набокова и, на мой взгляд, является ядром романа. Набоков называл себя «писателем-живописцем», и эта сцена – лучшее подтверждение его словам. В этом описании кроется напряжение между всем, что было до этого момента (Шарлотта узнает о предательстве Гумберта; у них случается ссора, в результате Шарлотта погибает от несчастного случая), и предчувствием еще более ужасного, что должно случиться потом. Противопоставляя, казалось бы, незначительные предметы (обрамлённый диплом, фотографии «девчоночек»), протокольную характеристику девочки («весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей») и личные чувства и эмоции («моя нетерпеливая ладонь»; «мои дрожащие руки»; «мое колотящееся сердце»), Набоков предвосхищает ужасные де-

нения Гумберта и украденное будущее Лолиты.

Обычные предметы в этой сцене, которая, на первый взгляд, является простым описанием, дестабилизируются эмоциями, вскрывающими грязный секрет Гумберта. Отныне его нетерпением и дрожью будут окрашены все нюансы этого нарратива; он станет навязывать свои эмоции ландшафту, времени, событиям, даже самым несущественным и незначительным. Удалось ли вам, как моим девочкам, почувствовать, что зло, которым пронизаны все действия и эмоции Гумберта, является тем более ужасающим, потому что он ведет себя как нормальный муж, нормальный отчим, нормальный человек?

И эта бабочка – бабочка или мотылек? Неспособность Гумберта отличить одно от другого, его нежелание разобраться в этих тонкостях намекает на моральную беспечность и в других вопросах. Слепое равнодушие перекликается с черствостью Гумберта по отношению к мертвому сыну Шарлотты и к еженощным всхлипам Лолиты. Те, кто говорит, что Лолита – маленькая соблазнительница и заслуживает того, что получила, должны помнить о том, как каждую ночь она рыдала в объятиях своего насильника и тюремщика, потому что, как напоминает нам Гумберт со смесью восторга и жалости, «ей было совершенно некуда идти».

Обо всем этом я думала, когда при встрече мы стали обсуждать, как Гумберт конфисковал жизнь Лолиты. Первое, что поразило нас в этом романе, – это было на первой же

странице – Лолиту преподносили нам как существо, созданное Гумбертом. Мы видим ее лишь урывками. «То существо, которым я столь неистово наслаждался, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой – быть может, более действительной, чем настоящая... лишенной воли и самознания – и даже всякой собственной жизни», – сообщает нам Гумберт. Гумберт втыкает в Лолиту первую булавку, давая ей имя – имя, становящееся отзвуком его желаний. Там, на самой первой странице, он перечисляет различные ее прозвища, имена для разных случаев – Ло, Лола, а в его объятиях – всегда Лолита. Нам также сообщают ее «настоящее» имя – Долорес, что по-испански означает «боль».

Чтобы дать Лолите новую личность, Гумберт должен сперва забрать у нее ее реальную историю, заменив ее своей собственной. Он превращает Лолиту в реинкарнацию своей потерянной безответной юной любви – Аннабеллы Ли. Мы узнаем Лолиту не напрямую, а через Гумберта, и не через ее прошлое, а через призму прошлого или воображаемого прошлого рассказчика/насильника. Гумберт, ряд литературных критиков и даже один из моих студентов – Нима – называли этот процесс гумбертовской солипсизацией Лолиты.

Но ведь у нее было прошлое. Несмотря на попытки Гумберта сделать Лолиту сиротой и украсть у нее ее личную историю, мы видим ее прошлое урывками. Благодаря литературному мастерству Набокова эти редкие проблески воспринимаются особенно болезненно на контрасте со всепоглоща-

ющей одержимостью Гумберта его собственным прошлым. Прошлое Лолиты трагично – умер ее отец, умер двухлетний брат. Теперь умерла и мать. Как и в случае моих студенток, прошлое Лолиты настигает ее не ощущением потери, а, скорее, чувством нехватки, и, как и мои девочки, она становится фрагментом чужой мечты.

В какой-то момент правда о прошлом Ирана становится для тех, кто ее присвоил, такой же призрачной, как и правда Лолиты для Гумберта. Она становится нематериальной, как правда Лолиты, ее собственные желания и жизнь; все это нужно обесцветить пред лицом одержимости Гумберта, его стремления сделать непослушную двенадцатилетнюю девочку своей любовницей.

Думая о Лолите, я вспоминаю пришпиленную к стене полуживую бабочку. Бабочка – неочевидный символ, но содержит намек на действия Гумберта – тот пришпиливает Лолиту так же, как пришили бабочку; хочет, чтобы она – существо, которое живет и дышит, – стала неподвижной, отказалась от своей жизни, став мертвой натурой, ибо он взамен предлагает ей именно это. В сознании читателей Набокова образ Лолиты навек неразрывно связан с образом ее тюремщика. Сама по себе Лолита бессмысленна; она оживает лишь за решеткой своей камеры.

Вот как я воспринимала «Лолиту». Когда мы обсуждали ее на занятиях, наши обсуждения всегда были окрашены личными горестями и радостями моих учениц. Как следы от

слез размывают строки письма, эти вылазки в скрытое и личное окрашивали все наши обсуждения Набокова. Я стала все чаще думать об этой бабочке, о том, почему тема извращенной близости жертвы и тюремщика оказалась нам так близка.

В ходе наших занятий я делала заметки в толстых ежедневниках. Их страницы были почти чистыми, кроме четвергов; бывало, что записи перетекали на пятницы, субботы и воскресенья. Когда я уезжала из Ирана, я не взяла с собой эти ежедневники, они были слишком тяжелыми, но я вырвала исписанные страницы, и сейчас эти мятые листы из забытых дневников с надорванным краем лежат передо мной. Кое-где уже невозможно разобрать мои каракули и что я имела в виду, но конспекты за первые несколько месяцев аккуратные и четкие. В основном там описаны открытия, которые я сделала в ходе наших дискуссий.

В первые несколько недель мы читали и обсуждали заданные книги упорядоченно, почти как на занятиях в университете. Я подготовила список вопросов, взяв за основу те, что прислала мне подруга, изучавшая права женщин; я хотела разговорить девочек. Те послушно отвечали. Как вы охарактеризуете свою мать? Назовите шесть человек, которыми вы восхищаетесь, и шесть, к которым испытываете сильную неприязнь. Опишите себя двумя словами. Их ответы на эти скучные вопросы были скучными; они писали то, что я ждала от них услышать. Помню, что Манна пыталась отвечать нестандартно. На вопрос «опишите свое представление о себе» она написала: «Я пока не готова ответить на этот во-

прос». Они все не были готовы. Пока.

С самого начала в качестве эксперимента я делала заметки. Еще в ноябре, спустя всего месяц после начала наших занятий, я написала: «Митра: некоторые женщины говорят, что иметь детей – их предназначение, и звучит это так, будто они обречены». Я добавила: «Неприятие мужчин у некоторых девочек еще сильнее моего. Они все стремятся к независимости. Им кажется, что найти равного себе мужчину невозможно. Они считают себя взрослыми и зрелыми, в отличие от окружающих мужчин, которые не ставят себе цель думать». 23 ноября: «Манна: я сама себя пугаю, все мои поступки и мысли не похожи на поступки и мысли окружающих. Окружающие тоже меня пугают. Но больше я боюсь себя». На протяжении всего нашего общения с первого дня до последнего я замечала, что у девочек отсутствовало четкое восприятие себя; они могли видеть себя и составлять представление о себе лишь чужими глазами – как ни парадоксально, глазами людей, которых они презирали. *Любовь к себе; уверенность в себе*, подчеркнула я в своих заметках.

Они открывались и оживлялись, лишь когда мы обсуждали книги. Романы становились побегом от реальности; мы могли восхищаться их красотой и совершенством, оставив в стороне истории о деканах, университете и уличных стражах морали. Мы читали эти книги непредвзято, не питая ожиданий и не связывая их с нашими личными историями; как Алиса, мы просто бежали за Белым Кроликом и прыгали в

его нору. Эта невинность восприятия дала плоды – без нее мы не осознали бы степени своего онемения. Парадокс, но именно романы, с помощью которых мы спасались от реальности, в итоге заставили нас усомниться в ней и начать анализировать ее, хотя прежде мы были беспомощны и не могли подобрать слов для ее описания.

В отличие от поколения писателей и интеллектуалов, к которому принадлежала и с которым теперь водила знакомство я, новое поколение – поколение моих девочек – не интересовалось идеологией и не имело политической позиции. Ими двигало чистое любопытство, реальная нехватка произведений великих писателей, попавших под запрет и ставших недоступными из-за режима и поддерживавших Революцию интеллектуалов и вынужденных прозябать в тени. В отличие от периода накануне революции, ныне кумирами молодежи стали «нереволюционные писатели», носители канона – Джеймс, Набоков, Вулф, Беллоу, Остин и Джойс. Они были посланниками запретного мира, который мы идеализировали и восхваляли сильнее, чем он того заслуживал.

В некотором роде тяга к красоте и инстинктивное стремление бороться с «неправильной формой вещей» – выражаясь словами Вадима, рассказчика последнего романа Набокова «Смотри на арлекинов!», – присутствовали у представителей разных идеологических полюсов того, что принято называть «культурой». Эта сфера была одной из немногих, где идеология играла относительно небольшую роль.

Мне бы хотелось верить, что это стремление к прекрасному что-то значило, что в тегеранском воздухе ощущалось дыхание если не весны, то обещания, что весна скоро наступит. Я цепляюсь за эту веру, за смутное ощущение сдерживаемого, но не проходящего волнения; оно напоминает мне о необходимости читать книги, подобные «Лолите», читать их в Тегеране. Я по-прежнему улавливаю это ощущение в письмах бывших студентов: невзирая на страх и тревогу о будущем, где их, возможно, ждет безработица и отсутствие безопасности, несмотря на беспокойство о хрупком и предательском настоящем, они пишут о поисках красоты.

Итак, сумели ли вы нас представить? Пасмурным ноябрьским днем мы сидим вокруг столика с коваными ножками и стеклянной столешницей; в зеркале столовой отражаются окутанные дымкой желтые и красные листья. У меня и, может быть, еще у двух девочек на коленях книги. У остальных – толстые пачки листов, распечатанных на ксероксе. Так просто «Лолиту» не достать – такие книги в книжных магазинах теперь не продают. Сначала цензоры запретили большинство книг, потом правительство запретило продажу; большинство магазинов литературы на иностранных языках закрылось, а тем, что остались, пришлось торговать дореволюционным ассортиментом. Иногда западные книги находились у букинистов, изредка – на ежегодной международной книжной ярмарке в Тегеране. Книги, подобные «Лолите», было очень сложно раздобыть, особенно издание с аннотацией, за которым охотились все мои девочки. Для тех, кто остался без книги, мы сделали копии – триста страниц. Через час у нас будет перерыв на чаепитие с пирожными. Не помню, чья сегодня очередь приносить пирожные; мы меняемся, каждую неделю кто-то приносит сладкое.

«Гадкое дитя», «маленькое чудовище», «похотливая», «низкая», «мерзкое отродье» – вот лишь некоторые «комплименты», которыми награждали Лолиту ее критики. В сравнении с этими нападками те уничижительные слова, которыми отзывается о Лолите и ее матери Гумберт, представляются почти лаской. Есть и те – в том числе ни больше ни меньше Лайонел Триллинг<sup>16</sup> – кто и вовсе рассматривает эту историю как роман о великой любви; есть и другие, осуждающие «Лолиту», – им кажется, что Набоков превратил историю изнасилования двенадцатилетней девочки в изысканный эстетический опыт.

На наших занятиях мы не соглашались ни с одной из этих интерпретаций. Мы единогласно (и я горжусь этим единогласием) соглашались с Верой Набоковой, вставая на сторону Лолиты. «„Лолита“ обсуждается прессой во всевозможных ракурсах, кроме одного: с точки зрения красоты и пафоса книги», – писала Вера в дневнике<sup>17</sup>. «Критики предпочитают искать нравственные символы, утверждение, осуждение или объяснение ситуации с Г. Г. ... Но хотелось бы, чтоб кто-

---

<sup>16</sup> Лайонел Триллинг (1905–1975) – американский литературный критик, писатель, преподаватель, один из наиболее влиятельных интеллектуалов в США 1940–70-х годов.

<sup>17</sup> Прямая цитата Веры Набоковой.

нибудь оценил, с какой нежностью описана вся беспомощность этого ребенка, оценил ее трогательную зависимость от кошмарного Г. Г., а также ее отчаянную отвагу, нашедшую такое яркое отражение в жалком, хотя в основе своей чистом и здоровом браке, обратил бы внимание на ее письмо, на ее собаку. Вспомним ужасное выражение на ее лице, когда Г. Г. обманывает ее, лишая обещанного ничтожного удовольствия. Все критики проходят мимо того факта, что Лолита, „это кошмарное маленькое отродье“, по сути своей истинно положительна – в противном случае она никогда бы не поднялась после того, как ее так жестоко сломали, и не обрела бы нормальной жизни с беднягой Диком, которая ей оказалась больше по душе, чем та, другая».

Рассказ Гумберта – исповедь и в обычном смысле этого слова, и в буквальном: он действительно пишет свое признание в тюрьме в ожидании суда за убийство драматурга Клэра Куилти, с которым Лолита пыталась сбежать, чтобы скрыться от него, и который бросил ее, когда она отказалась участвовать в его жестоких сексуальных играх. Гумберт предстанет перед нами и рассказчиком, и соблазнителем, причем соблазняет не только Лолиту, но и нас, читателей, на протяжении всей книги обращаясь к нам как «уважаемые присяжные женского и мужского рода» (а порой и «крылатые господа присяжные»). По мере развития сюжета нам открывается другое преступление, более серьезное, чем убийство Куилти: заманивание Лолиты в ловушку и насилие над ней (обратите

внимание, что хотя сцены с Лолитой написаны с нежностью и страстью, убийство Куилти изображено как фарс). Проза Гумберта, временами бесстыдно цветистая, ставит целью соблазнить читателя, особенно высокоинтеллектуального, которого, безусловно, должны пленить эти чудеса мыслительной гимнастики. Лолита принадлежит к категории жертв, которых некому защитить; им не дается даже шанс рассказать свою историю. Таким образом, она становится жертвой вдвойне: у нее забирают не только жизнь, но и ее собственное повествование. Мы говорили себе, что участвуем в этих занятиях, чтобы не стать жертвами второго преступления.

Лолита и ее мать обречены еще до нашей первой с ними встречи: «гейзовский дом» – так его называет Гумберт – «скорее серый, чем белый – тот род жилья, в котором знаешь, что найдешь вместо душа клистирную кишку, натягиваемую на ванный кран». Когда мы оказываемся в прихожей (украшенной дверными колокольчиками и «банальным баловнем изысканной части буржуазного класса» – «Арлезианкой» Ван Гога), наша улыбка успевает превратиться в высокомерную усмешку. Мы поднимаем взгляд на лестницу и слышим «контральтовый» голос миссис Гейз, прежде чем появляется сама Шарлотта, которую Гумберт описывает как «слабый раствор Марлены Дитрих». Каждым предложением, каждым словом Гумберт уничтожает Шарлотту, рисуя ее портрет: «она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чте-

ния или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут».

У бедной женщины даже не было шанса; при дальнейшем знакомстве она не становится более привлекательной, читателя лишь продолжают заваливать описаниями ее пошлости, ее сентиментальной ревнивой страсти к Гумберту и дурного обращения с дочерью. Филигранный слог Гумберта («можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости») направляет внимание читателя на банальности и мелкую жестокость американского консюмеризма, вызывая чувства эмпатии и пособничества. Читателя призывают осмыслить безжалостное соблазнение одинокой вдовы и последующую женитьбу Гумберта на ней с целью соблазнить ее дочь как явление, которое вполне можно понять.

Мастерство Набокова проявляется в его способности вызывать у нас сочувствие к жертвам Гумберта – по крайней мере, к двум его женам, Валерии и Шарлотте, – хотя мы им не симпатизируем. Мы осуждаем жестокость Гумберта к этим женщинам, но соглашаемся с ним, когда он характеризует их как банальных. Так Набоков преподает нам первый урок демократии: любой человек, каким бы презренным он нам ни казался, имеет право жить, быть свободным и стремиться к счастью. В романах «Приглашение на казнь» и «Под знаком незаконнорожденных» злодеями Набокова выступают пошлые и жестокие тоталитарные правители, пытающиеся завладеть пытливыми умами и контролировать их; в «Лолите» сам

злодей обладает пытливым умом. Какой-нибудь м-сье Пьер никогда не собьет с толку читателя, но как оценивать м-сье Гумберта?

Готовя читателя к рассказу о своем самом гнусном преступлении – первой попыткой овладеть Лолитой – Гумберт пускает в ход все свое мастерство и вероломство. Он готовит нас к главной сцене соблазнения с той же безукоризненной последовательностью, с которой готовится накачать Лолиту снотворным и воспользоваться ее обмякшим телом. Он пытается перетянуть нас на свою сторону, помещая читателя и себя в одну категорию – яростных критиков культуры потребления. Лолиту он описывает как пошлую совратительницу и пишет о свойственной ей «жутковатой вульгарности»: «Она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа».

Подобно лучшим адвокатам защиты, ослепляющим своей риторикой и взывающим к нашим высоким нравственным чувствам, Гумберт пытается оправдаться, очерняя своих жертв, – метод, который нам, жительницам Исламской Республики Иран, был хорошо знаком. («Мы не против кинематографа, – говорил аятолла Хомейни, когда его приспешники поджигали кинотеатры, – мы против проституции!») Обращаясь к «девственно-холодным господам присяжным», Гумберт сообщает: «Я сейчас вам скажу что-то очень странное: это она меня совратила». «Ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хо-

рошенькой, едва сформировавшейся, девочке, которую в конце развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде герл-скаутских костров и тому подобное. Для нее чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым».

До сих пор нам казалось, что Гумберту-преступнику с помощью Гумберта-поэта удалось соблазнить Лолиту и читателя. На самом деле, на обоих фронтах он терпит неудачу. Ему так и не удастся добиться от Лолиты согласия, и отныне каждое их соитие становится не чем иным, как жестоким и изощренным изнасилованием; она всячески избегает его. У него также не получается полностью переманить на свою сторону читателя, по крайней мере, некоторых читателей. Ирония в том, что именно его поэтическое мастерство и затейливый стиль прозы выдают его с головой.

Вы видите, что проза Набокова содержит ловушки для неискушенного читателя; достоверность всех утверждений Гумберта одновременно ставится под сомнение и компрометируется скрытой правдой, сквозящей в его описаниях. Из них проступает другая Лолита, чья личность не ограничивается карикатурным изображением вульгарной и черствой совратительницы – хотя ей она тоже является. Травмированная одинокая девочка, которую лишили детства; она сирота, ей некуда бежать. Лишь изредка в размышлениях Гумберта нам приоткрывается характер Лолиты, ее уязвимость и оди-

ночество. Так, Гумберт признается, что случись ему писать фреску на стене «Привала Зачарованных Охотников» – мотеля, где он впервые ее изнасиловал, – он написал бы озеро и «живую беседку в ослепительном цвету». «Был бы огненный самоцвет, растворяющийся в кольцеобразной зыби, одно последнее содрогание, один последний мазок краски, язвущая краснота, зудящая розовость, вздох, отворачивающееся дитя». (Дитя, прошу, запомните, уважаемые присяжные женского и мужского пола; хотя это дитя, живи она в Исламской Республике, давно бы считалась созревшей для замужества с мужчинами намного старше Гумберта.)

По мере развития сюжета ширится список жалоб Гумберта. Он называет Лолиту своей «мерзкой, обожаемой потаскушкой» и пишет о ее «неприличных молодых ногах», но вскоре мы узнаем, что на самом деле означают жалобы Гумберта: она сидит у него на коленях и ковыряет в носу, поглощенная «легким чтением в приложении к газете, столь же равнодушная к проявлению моего блаженства, как если бы это был случайный предмет, на который она села – башмак, например, или кукла, или рукоятка ракеты». Само собой, все убийцы и угнетатели могут предъявить своим жертвам длинный список жалоб; большинство, однако, не так красноречивы, как Гумберт Гумберт.

Он не всегда остается нежным любовником: малейшая попытка Лолиты добиться независимости вызывает его яростный гнев: «Я наотмашь дал ей здоровенную плюху, смач-

но пришедшуюся на ее теплую твердую маленькую скулу. А затем – раскаяние, пронзительная услада искупительных рыданий, пресмыкание любви, безнадежность чувственного примирения... В бархатной темноте ночи, в мотеле „Мирана“ (Мирана!), я целовал желтоватые подошвы ее длиннопалых ножек, – я дошел до последних унижений и жертв... Но это все было ни к чему. Мы оба были обречены. И вскоре мне пришлось перейти в новый круг адских пыток».

Нет ничего более трогательного, чем полная беспомощность Лолиты. В первое утро после их болезненного (для Ло, хотя она храбрилась) и экстатического (для Гумберта) соития она требует дать ей денег, чтобы позвонить матери. «Почему я не могу позвонить маме, если хочу?» «Потому что твоя мать умерла», – отвечает Гумберт. В тот вечер в отеле они берут разные номера, но Гумберт вспоминает, что «посреди ночи она, рыдая, перешла ко мне и мы тихонько с ней помирились. Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти».

В этом-то, разумеется, все дело: ей было некуда пойти, и в течение последующих двух лет в грязных мотелях и на уединенных дорогах, у себя дома и даже в школе он принуждал ее давать ему согласие. Он не дает ей общаться с детьми ее возраста, следит за ней, чтобы она не заводила мальчиков, запугиванием заставляет хранить тайну, обещает деньги за секс, а получив свое, аннулирует сделку.

Прежде чем читатель вынесет свое суждение о Гумберте

или нашем слепом цензоре, должна напомнить, что в определенный момент Гумберт обращается к читателям «читатель! Брудер!» – и это отсылка к известной строке Бодлера из предисловия к «Цветам зла»: «Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник – ты знал чудовище утонченное это?!»

Митра тянется за пирожным и говорит, что уже некоторое время ей не дает покоя одна мысль. Почему истории вроде «Лолиты» и «Госпожи Бовари» – такие грустные, такие трагичные – приносят столько счастья? Не грех ли испытывать удовольствие, читая повествование о столь ужасных вещах? Почувствовали бы мы то же самое, если бы прочли об этом в газетах или если бы это случилось с нами? Случись нам написать про свою жизнь здесь, в Исламской Республике Иран, смогли бы мы сделать наших читателей счастливыми?

В тот вечер, как и много раз до этого и много раз после, я уснула, размышляя о сегодняшнем занятии. Мне казалось, я не дала Митре достойного ответа; я была вынуждена позвонить своему волшебнику и поговорить с ним о нашей дискуссии. Это была редкая ночь, когда бессонница одолевала не из-за кошмаров и тревоги, а из-за радостного будоражающего волнения. Обычно ночью я лежу и жду неожиданной катастрофы, которая вот-вот обрушится на наш дом, или телефонного звонка с дурными новостями о ком-то из друзей или родных. Полагаю, мне кажется, что пока я буду оставаться в сознании, ничего плохого не случится; все плохое может прийти ко мне лишь во сне.

Я могу проследить свои ночные тревоги вплоть до того момента, когда на втором курсе – я тогда училась в ужасной

частной школе в Швейцарии – меня вызвали с урока истории, который вел суровый американец, прямым в кабинет директора. Там мне сообщили: по радио объявили, что моего отца, самого молодого мэра в истории Тегерана, посадили в тюрьму. Всего тремя неделями ранее его большую цветную фотографию опубликовали в «Пари-Матч»; он стоял рядом с генералом де Голлем. Рядом не было шаха или другого высокопоставленного лица – только папа и генерал. Как и все в моей семье, отец был культурным снобом и занялся политикой, презирая политиков и демонстрируя неподчинение на каждом шагу. Он дерзил начальству и сразу завоевал популярность у журналистов; общался он охотно и был с ними в хороших отношениях. Он писал стихи, хотя его истинным призванием, конечно же, была проза. Потом я узнала, что генерал де Голль проникся к нему симпатией после приветственной речи отца, которую тот произнес по-французски, с аллюзиями на великих французских писателей вроде Шатобриана и Виктора Гюго. Де Голль наградил его орденом Почетного легиона. Не сказать, чтобы это понравилось представителям иранской элиты; та и прежде недолюбливала отца за его строптивость, а теперь еще и начала завидовать оказанному ему вниманию.

Плохую новость несколько компенсировало то, что мне больше не пришлось учиться в Швейцарии. На Рождество я вернулась домой; в аэропорт меня провожал специальный эскорт. Я полностью осознала, что отец в тюрьме, лишь при-

землившись в аэропорту Тегерана и обнаружив, что он меня не встречает. Четыре года они держали его во «временной» тюрьме – в тюремной библиотеке, примыкающей к моргу; все это время нам сообщали, что его то казнят, то освободят – иногда говорили это почти одновременно. В конце концов с него сняли все обвинения, кроме одного: неповиновение начальству. Я запомнила эти слова навсегда – неповиновение начальству: потом они стали для меня образом жизни. Много позже, когда я прочла у Набокова, что «любопытство – это высшая форма неповиновения», я снова вспомнила вердикт, вынесенный отцу.

Я так и не оправилась от потрясения того момента, когда меня забрали из безопасной среды – класса сурового мистера Холмса, кажется, так его звали, – и сообщили, что мой отец, мэр, сидит в тюрьме. Впоследствии Исламская Революция лишила меня остатков чувства безопасности, которое мне худо-бедно удалось восстановить после того, как папа вышел на свободу.

Через несколько месяцев после начала занятий мы с девочками выяснили, что почти каждой из нас снился кошмар о том, что мы забыли надеть хиджаб или не надели его нарочно. В этих снах героиня всегда убегала, спасалась от кого-то. В одном – наверно, это был мой сон – она хотела убежать, но не могла; ноги приросли к земле прямо на пороге. Не могла она и обернуться, открыть дверь и спрятаться в доме. Нассрин была единственной, кто, по ее словам, никогда

не испытывал этого страха. «Я всегда боялась, что мне придется солгать. *Всего превыше верен будь себе*<sup>18</sup> – помните? Я раньше в это верила», – она пожала плечами. «Но я исправилась», – добавила она, подумав.

Позже Нима рассказал, что сын его друзей, десятилетний мальчик, в ужасе разбудил своих родителей и признался, что ему приснился «незаконный сон». Во сне он увидел себя на берегу моря; рядом сидели целующиеся парочки, а он не знал, что делать. Он все повторял, что его сны незаконны.

В «Приглашении на казнь» на стене тюремной камеры Цинцинната Ц., напоминающей третьесортную гостиницу, написан ряд правил для заключенных, например: «Кротость узника есть украшение темницы». Правило номер шесть, являющееся ядром этого романа, гласит: «Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник».

Днем было лучше. Днем я чувствовала себя храброй. Отвечала Стражам Революции, спорила с ними; не боялась про-

---

<sup>18</sup> Цитата из речи Полония, наставляющего Лаэрта: «Гамлет» Шекспира в пер. Пастернака.

следовать за ними в Революционный комитет. Некогда было задумываться о мертвых родственниках и друзьях, о том, как нам самим едва удалось спастись, по чистому везению. Но ночью, вернувшись домой, я за все расплачивалась. Что будет теперь? Кого убьют? Когда они придут? Страх стал моим вечным спутником; я не осознавала его постоянно, но страдала бессонницей, бродила по дому, читала и засыпала, не сняв очки, часто с книгой в руках. Страх влечет за собой ложь и оправдания; какими бы убедительными ни были последние, они подрывают самооценку, как верно заметила Нассрин.

Вот что меня спасло: моя семья и узкий круг друзей, идеи, мысли, книги, которые мы обсуждали с моим волшебником из подполья, гуляя вечерами. Он постоянно тревожился – если нас остановит патруль, что мы скажем в свое оправдание? Мы не были женаты, не были братом и сестрой. Он тревожился за меня и мою семью, и всякий раз его тревога придавала мне смелости; я позволяла платку соскользнуть с головы, громко смеялась. Я ничем не могла «им» навредить, но могла злиться на своего друга или мужа – на всех мужчин, которые осторожничали и тревожились за меня «ради моего же блага».

После нашего первого обсуждения «Лолиты» я отправилась спать в возбуждении, размышляя над вопросом Митры. Отчего чтение «Лолиты» или «Госпожи Бовари» приносит нам такую радость? Кто в этом виноват – сами романы или

мы? А Флобер с Набоковым – неужели они бесчувственные животные? К следующему четвергу я сформулировала свои мысли; мне не терпелось поделиться ими с классом.

Набоков писал, что все великие романы – на самом деле сказки. И я с ним согласна, сказала я девочкам. Во-первых, позвольте напомнить, что в сказках есть страшные ведьмы, пожирающие детей, и злые мачехи, отравляющие своих прекрасных падчериц; есть там и слабовольные отцы, бросающие родных отпрысков в лесу. Однако источником волшебства всегда является сила добра, сила, приказывающая нам не поддаваться ограничениям и запретам судьбы, или «Макфейта»<sup>19</sup>, как ее называет Набоков.

В каждой сказке есть возможность выйти за существующие ограничения. Сказка в некотором смысле предлагает читателю свободу, которой не может быть в реальном мире. В великих художественных произведениях, какую бы мрачную реальность они ни отображали, всегда присутствует жизнеутверждающий пафос на фоне скоротечности жизни; по сути, неповиновение судьбе. Этот пафос возможен благодаря тому, что автор берет контроль над реальностью в свои руки и излагает ее по-своему, таким образом создавая новый мир. Каждое великое произведение искусства, как бы помпезно это ни звучало, прославляет жизнь и является актом неповиновения, бунтом против предательств, ужасов и

---

<sup>19</sup> Макфейт – вымышленное имя McFate, от слова «fate», в переводе означающего «судьба».

вероломства бытия. Совершенство и красота формы бунтуют против уродства и неприглядности изображаемой реальности. Вот почему нам так нравится «Госпожа Бовари», вот почему мы плачем за Эмму и жадно глотаем строки «Лолиты», хотя сердце наше обливается кровью за эту маленькую, вульгарную, поэтичную и непокорную героиню, лишенную детства.

Манна и Ясси пришли чуть раньше назначенного времени. Мы разговорились о прозвищах, которые придумались для участниц нашего литературного кружка. Я сказала девочкам, что называю Нассрин своим Чеширским Котом, потому что та появляется и исчезает в самое непредсказуемое время. Когда Нассрин пришла вместе с Махшид, мы рассказали ей о нашем разговоре. Манна сказала: «Если бы мне велели придумать для Нассрин определение, я бы назвала ее ходячим парадоксом». Отчего-то Нассрин это разозлило; она повернулась к Манне и почти обвиняющим тоном произнесла: «Ты – поэтесса, Митра – художница, а я, значит, ходячий парадокс?»

Однако в полушутливом определении Манны была доля правды. Солнце и тучи, управлявшие бесконечными скачками настроения Нассрин и ее темпераментом, были слишком тесно связаны, слишком неразделимы. Казалось, она жила ради того, чтобы ляпнуть что-то обескураживающее в самый неподходящий момент. Все мои девочки время от времени меня удивляли, но Нассрин чаще других.

Однажды Нассрин задержалась после занятия – помочь мне разобрать и рассортировать по папкам лекционные конспекты. Мы говорили о том о сем – об учебе в университете, лицемерии чиновников и активистов различных мусуль-

манских ассоциаций. И вдруг, спокойно раскладывая листки бумаги по голубым скоросшивателям и подписывая даты и темы на папках, она как ни в чем ни бывало сказала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего дяди, младшего среди своих братьев, очень набожного человека; это произошло, когда ей едва исполнилось одиннадцать. Нассрин вспоминала, как он вслух говорил, что хочет сохранить целомудрие и чистоту для будущей жены, поэтому и отказывался дружить с женщинами. *Целомудрие и чистоту*, издевательским тоном повторила она. Три дня в неделю в течение года он помогал Нассрин делать уроки – арабский, а иногда и математику. Во время этих уроков они сидели рядом за ее столом, и его руки шарили по ее ногам и всему телу, пока он повторял арабские времена.

Этот день надолго мне запомнился по многим причинам. На занятии мы обсуждали понятие злодея в романе. Я отметила, что Гумберт – злодей, потому что не испытывает никакого любопытства по отношению к другим людям, даже к Лолите, которую любит больше всего. Как большинство диктаторов, Гумберт интересуется лишь собственным восприятием окружающих. Он сконструировал Лолиту по своему хотению и не желает ни на шаг отступить от этого образа. Я напомнила девочкам, как Гумберт говорил, что хочет остановить время и навсегда сохранить Лолиту на «очарованном острове времени» – задача, посильная лишь Богу и поэтам.

Я попыталась объяснить, почему «Лолита» – более слож-

ный роман по сравнению с предыдущими книгами Набокова, которые мы читали на уроках. На первый взгляд, «Лолита» более реалистична, но в ней присутствуют те же ловушки и неожиданные повороты, как и в других набоковских трудах. Я показала девочкам маленькую фотографию картины Джошуа Рейнольдса «Эпоха невинности», которую случайно нашла в старой курсовой работе. Мы обсуждали сцену, где Гумберт приходит к Лолите в школу и обнаруживает ее в классе. Над доской висит репродукция картины Рейнольдса – девочка в белом платье с каштановыми кудрями. Перед Лолитой сидит еще одна «нимфетка» – красивая блондинка с «очень голой, фарфорово-белой шеей» и «чудными бледно-золотыми волосами». Гумберт садится «прямо позади этой шеи и этого локона», расстегивает пальто и за взятку вынуждает Лолиту просунуть ее «мелом и чернилами испачканную, с красными костяшками» руку под парту и удовлетворить то, что на обычном языке зовется похотью.

Давайте ненадолго заострим внимание на этом будничном описании рук школьницы. Его невинность не соответствует действию, к которому принуждают Лолиту. Этих слов – «мелом и чернилами испачканная, с красными костяшками» – довольно, чтобы читатель ощутил ком в горле. Следует пауза... или, может, мне показалось, что за обсуждением этой сцены последовала длинная пауза?

– Но сильнее всего нас тревожит не полная беспомощность Лолиты, а то, что Гумберт лишает ее детства, – сказала

я. Саназ взяла свою ксерокопию романа и начала читать:

– «И меня тогда поразило», – прочла она, – «пока я, как автомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю о происходившем у любимой моей в головке и что, может быть, где-то, за невыносимыми подростковыми штампами, в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, – дымчатая обворожительная область, доступ к которой запрещен мне, оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья».

Я попыталась не обращать внимания на многозначительные взгляды, которыми обменялись девочки.

– Мне тяжело читать отрывки, где говорится о чувствах Лолиты, – произнесла наконец Махшид. – Она лишь хочет быть обычной девочкой. Помните сцену, когда отец Авис приходит за ней, и Лолита замечает, как толстая маленькая девочка ластится к отцу? Ей хочется лишь одного – жить нормальной жизнью.

– Интересно, – сказала Нассрин, – что Набоков, так осуждавший пошлость, заставляет нас сожалеть об утрате самой банальной формы жизни.

– Думаете, Гумберт меняется, когда видит ее в конце? – прервала ее Нассрин. – Несчастную, беременную и бедную?

Время перерыва подошло и прошло, но мы были слишком поглощены обсуждением и не замечали. Манна, которая казалась сосредоточенной на чтении отрывка, вдруг подняла голову.

– Странно, – сказала она, – некоторые критики относятся

к этому тексту так же, как Гумберт относился к Лолите: видят в нем только себя и то, что им хочется увидеть. – Она повернулась ко мне и продолжала: – Разве цензоры и некоторые из наших самых ангажированных критиков не поступают так же? Кромсают книги и воссоздают их по своему образу и подобию. То, что аятолла Хомейни пытался сделать с нашими жизнями, превратив нас, как вы сказали, во фрагменты своего воображения, он сделал и с нашей литературой. Посмотрите, что случилось с Салманом Рушди.

Саназ, игравшая с локоном своих длинных волос, накручивая его на палец, встрепелась и ответила:

– То, как Рушди изобразил нашу религию, многим показалось гротескным и непочтительным. И люди не возражают против него как литератора, лишь против оскорблений.

– А можно ли вообще написать роман, никого не оскорбив, – заметила Нассрин, – хороший роман, я имею в виду? К тому же, в контракте с читателем прописано, что речь не о реальном мире, а о вымышленном. Должно же быть хоть одно место в этой треклятой жизни, – сердито добавила она, – где нам позволены любые оскорбительные высказывания!

Саназ несколько опешила, услышав горячий ответ Нассрин. На протяжении всего обсуждения Нассрин гневно расчерчивала свой блокнот прямыми линиями; сообщив нам, что думает, она вернулась к своему занятию.

– Проблема с цензорами в том, что они неподатливы, – мы все повернулись к Ясси. Та пожала плечами, словно же-

лая сказать – что такого, мне нравится это слово. – Помните, как из советского фильма «Гамлет» на нашем телевидении вырезали Офелию?

– Хороший получился бы газетный заголовок, – заметила я. – «Траур по Офелии». – С тех пор, как в 1991 году я стала ездить за границу на семинары и конференции – главным образом в США и Англию – обсуждая любую тему, я автоматически придумывала заголовки для презентаций или научных работ.

– А их невозможно не оскорбить, – заметила Манна. – Всегда есть к чему придраться – не к политике, так к нравам. – Глядя на ее короткую стильную стрижку, голубую спортивную кофту и джинсы, я подумала, как несуразно она выглядит в бесформенных складках покрывала.

Внезапно заговорила Махшид, до сих пор сидевшая тихо.

– Я одного не понимаю, – сказала она. – Мы все говорим, что Гумберт неправ – и я с этим согласна, – но при этом совсем не обсуждаем моральные аспекты. Ведь есть действительно оскорбительные моменты. – Она замолчала, поразившись собственной горячности. – Вот мои родители – они очень религиозные люди, разве это преступление? – Она взглянула мне в глаза. – И разве нет у них права ожидать, что я буду похожа на них? Почему я должна осуждать Гумберта, но не осуждать героиню «Умышленной задержки»<sup>20</sup>; почему должна соглашаться, что нет ничего плохого в супружеской

---

<sup>20</sup> Роман Мюриэл Спарк (Loitering with Intent).

измене? Это серьезные вопросы, и когда мы начинаем примерять их на себя, они становятся особенно сложными, – выпалила она и потупила взгляд, словно надеясь найти ответ в узорах ковра.

– Мне кажется, – ответила Азин, – что лучше уж изменять мужу, чем быть лицемеркой. – Азин в тот день очень нервничала. Она взяла с собой трехлетнюю дочь (детский сад был закрыт, и за девочкой некому было присматривать), и мы с трудом уговорили ее оторваться от матери и посмотреть мультики в холле с Тахере-ханум, нашей домработницей.

Махшид повернулась к Азин и с тихим презрением произнесла:

– Никто и не говорил, что надо выбирать между изменой и лицемерием. Я вот что хочу понять – существует ли мораль в принципе? Нормально ли считать, что все средства хороши и никто не испытывает ответственность по отношению к окружающим, а заботиться нужно лишь об удовлетворении собственных потребностей?

– Все герои великих романов задаются этим вопросом, – заметила Манна. – Госпожа Бовари, Анна Каренина, героини Джеймса – все они раздумывают, как поступить – правильно или как хочется.

– А что если правильно поступаешь именно тогда, когда делаешь, как хочется, а не слушая указ общества или власть имущих? – спросила Нассрин, на этот раз даже не удосужившись оторваться от своих каракуль. В тот день в атмосфере

чувствовалось что-то, не относящееся напрямую к книгам, которые мы читали. Наш разговор зашел в более личное, интимное русло, и девочки вдруг обнаружили, что у них не получается решить собственные нравственные дилеммы так же легко, как они решали дилеммы Эммы Бовари и Лолиты.

Азин наклонилась вперед; длинные золотые сережки играли в прятки с мелкими кудрями.

– Мы должны быть честны с собой, – сказала она. – Это первое условие. Мы – женщины; есть ли у нас такое же, как у мужчин, право получать удовольствие от секса? Сколько из вас ответит – да, такое право есть; мы так же, как мужчины, имеем право наслаждаться сексом, а если мужья нас не удовлетворяют, мы имеем право искать удовлетворение на стороне? – Она пыталась говорить об этом, как будто это самое обычное дело, но все равно всех нас удивила.

Азин была самой высокой в группе девушкой, белокурой, с молочно-белой кожей. У нее была привычка прикусывать угол нижней губы; она же часто пускалась в тирады о любви, сексе и мужчинах. Как ребенок, бросающий в бассейн большой камень, она делала это не только ради брызг, но и стремясь забрызгать всех окружающих взрослых. Азин была замужем три раза; последним ее мужем был привлекательный богатый торговец из семьи традиционных провинциальных *базаари* – рыночных продавцов. Я встречала ее мужа на многих своих конференциях и мероприятиях, куда обычно ходили мои девочки. Он очень гордился женой, а ко мне всегда

относился с подчеркнутым уважением. При каждой нашей встрече он следил, чтобы я ни в чем не нуждалась; если на кафедре не было стакана с водой, немедленно шел исправлять эту ошибку; когда нужны были лишние стулья, принимался гонять сотрудников. Казалось, на наших мероприятиях именно он играет роль радушного хозяина, предоставившего нам свой дом и время, потому что больше ему было дать нечего.

Я не сомневалась, что Азин бросила камень в огород Махшид, намереваясь косвенно задеть и Манну. Их столкновения объяснялись не только их разным происхождением. Эмоциональные всплески Азин, кажущаяся откровенность, с которой она рассказывала о своей личной жизни и желаниях, внушали сдержанным Манне и Махшид сильную неловкость. Они ее не одобряли, и Азин это чувствовала. Ее попытки подружиться отвергали как лицемерие.

Махшид, как обычно, отреагировала молчанием. Она закрылась в себе, отказавшись заполнить пустоту, возникшую после вопроса Азин, который так и остался без ответа. Ее молчание оказалось заразительным, и наконец его нарушила Ясси, коротко хихикнув. Я же решила, что самое время сделать перерыв, и пошла на кухню за чаем.

А вернувшись, услышала, что Ясси смеется. Пытаясь разрядить обстановку, она сказала:

– Как мог Бог оказаться столь жестоким – он дал мусульманской женщине такие пышные тела, но забыл наде-

лить ее сексуальной привлекательностью, – она повернулась к Махшид и с притворным ужасом уставилась на нее.

Махшид потупилась, а потом робко и горделиво подняла голову; ее прищуренные глаза расширились, и она снисходительно улыбнулась. – Женщине не нужна сексуальная привлекательность, – сообщила она Ясси.

Но Ясси не собиралась сдаваться. – Засмейся, ну пожалуйста, засмейся, – взмолилась она. – Доктор Нафиси, прошу, велите ей рассмеяться. – Робкий смех Махшид потонул в безудержном хохоте остальных.

Последовала пауза и тишина; я поставила поднос на столик. Вдруг Нассрин произнесла:

– Я знаю, что это значит – застрять между традицией и переменами. Я мечусь между ними всю свою жизнь.

Она села на подлокотник кресла Махшид, а та тем временем пыталась пить чай, удерживая чашку от столкновения с Нассрин, экспрессивно махавшей руками во все стороны; пару раз ее руки чуть не опрокинули чашку.

– Мне это известно не понаслышке, – продолжала Нассрин. – Моя мать из богатой, светской современной семьи. Единственная дочь; у нее два брата, оба стали дипломатами. Дед был очень либеральным человеком, хотел, чтобы она закончила образование и поступила в колледж. Отправил ее учиться в американскую школу.

– В американскую школу? – ахнула Саназ, нежно теребя свои локоны.

– Да, сейчас большинство девочек даже старшие классы не заканчивают, не говоря уж об американской школе, но мама владела английским и французским. – Нассрин, кажется, очень гордилась этим и была довольна. – И что потом? Потом она влюбилась в отца, своего репетитора. В математике и естествознании она была полный ноль. Забавно, – сказала Нассрин и снова взмахнула левой рукой в опасной близости от чашки Махшид. – Они решили, раз отец из религиозной семьи, юная девушка с ним будет в безопасности; да и кто бы мог подумать, что современная молодая женщина вроде моей матери заинтересуется таким суровым юношей, который редко улыбался, никогда не смотрел ей в глаза, а его сестры и матери все носили чадру? Но она влюбилась в него, возможно, потому, что он так сильно от нее отличался; а может, ей казалось, что носить чадру и заботиться о нем более романтично, чем учиться в колледже на женщину-врача или кого-нибудь еще.

– Она утверждала, что никогда не жалела о замужестве, но вечно вспоминала свою американскую школу и старых школьных подруг, которых после замужества больше никогда не видела. И она научила меня английскому. Когда я была маленькой, она учила меня алфавиту, покупала книги на английском. Благодаря ей язык всегда давался мне легко. У моей сестры – она намного старше меня, на девять лет – тоже никогда проблем с английским не было. Странное поведение для мусульманки – ей бы лучше учить нас арабскому, но она

так его и не выучила. Моя сестра вышла замуж за современного – в кавычках – парня, – Нассрин изобразила пальцами кавычки, – и уехала в Англию. Видимся с ними, только когда они приезжают домой в отпуск.

Перерыв подошел к концу, но история Нассрин нас затянула, и даже между Азин с Махшид, казалось, установилось временное перемирие. Когда Махшид потянулась за профитролем, Азин с дружелюбной улыбкой поднесла ей блюдо, напросившись на вежливое «спасибо».

– Мать хранила верность отцу. Ради него она изменила всю свою жизнь и ни разу не пожаловалась, – продолжала Нассрин. – Он пошел лишь на одну уступку – разрешил ей готовить нам странную еду, «французские деликатесы» – так он их называл, все деликатесы для него были французскими. Хотя нас растили согласно отцовским диктатам, семья матери и ее прошлое всегда присутствовали где-то на периферии, намекая, что жить можно иначе. И дело не только в том, что моя мать так и не смогла найти общий язык с семьей отца – те считали ее заносчивой и «не их круга». Моя мать очень одинока. Иногда мне даже хочется, чтобы она нашла себе любовника или нечто в этом роде.

Махшид испуганно взглянула на нее; Нассрин встала и рассмеялась. – Нечто в этом роде, – повторила она.

История Нассрин и конфронтация Азин и Махшид так сильно переменяли наше настроение, что мы уже не смогли вернуться к обсуждению «Лолиты». Вместо этого мы стали

говорить о том о сем, в основном сплетничали об учебе в университете, и в конце концов разошлись по домам.

Когда девочки ушли, они оставили после себя ауру нерешенных проблем и дилемм. Я вдруг поняла, что выбилась из сил. И прибегла к единственному известному мне способу решения проблем: пошла к холодильнику, зачерпнула ложку кофейного мороженого, плеснула сверху холодного кофе, стала искать грецкие орехи, но обнаружила, что они кончились; нашла миндаль, разгрызла зубами, измельчила и посыпала им свой кулинарный шедевр.

Я знала, что Азин ведет себя так возмутительно, потому что это самозащита; так она надеется пробиться сквозь защитные стены Махшид и Манны. Махшид казалось, что Азин пренебрежительно относится к ее традиционному происхождению, ее плотным темным платкам, манерам «синего чулка»; она не догадывалась, что и ее презрительное молчание может бить по живому. Маленькая и изящная, со своими камеями – она на самом деле носила брошки с камеями, – маленькими сережками, бледно-голубыми блузками, застегнутыми на пуговицы до самого подбородка, и холодными улыбками – о, Махшид была грозной соперницей. Догадывались ли они с Манной, как воздействует на Азин их упрямое молчание, их ледяное и безупречное неодобрение? Как все это делает ее беззащитной?

Во время одной из их стычек в перерыве между занятиями я услышала, как Махшид говорит Азин: «Да, у тебя есть

и сексуальный опыт, и поклонники. В отличие от меня, ты не старая дева. Да, я старая дева – нет у меня богатого мужа, я не вожу машину – но ты все равно не имеешь права не уважать меня». Азин спросила: «Но что я такого неуважительного сделала?» В ответ Махшид лишь отвернулась и оставила ее, наградив улыбкой холодной, как вчерашний ужин. Сколько я ни пыталась их разговорить и вовлечь в дискуссию – и в классе, и наедине с каждой, – их отношения не улучшились. Они шли на уступки лишь в одном – на уроках соглашались оставить друг друга в покое. Как сказала бы Ясси, они были неподатливы.

Так вот, значит, как все началось? Не в тот ли день, когда мы сидели за столом в его столовой, жадно вгрызаясь в бутерброды с сыром и запрещенной ветчиной и называя их *крок-месье*? В какой-то момент мы, должно быть, переглянулись и увидели в наших глазах одинаковое выражение – голодное неразбавленное удовольствие; потому что в ту же минуту мы одновременно рассмеялись. Я отсалютовала ему стаканом воды и произнесла: кто бы мог подумать, что столь простая трапеза покажется нам королевским пиром! А он ответил: за это нужно поблагодарить Исламскую Республику: мы заново открываем для себя все, что прежде принимали как должное, и даже жаждем этого; можно написать целую диссертацию о том, как это приятно – есть бутерброд с ветчиной. А я сказала: о, сколько всего, за что нам стоит быть признательными! И в тот достопамятный день мы начали оглашать долгий перечень наших благодарностей Исламской Республике: без нее мы бы не открыли заново, как это весело – ходить на вечеринки, есть мороженое на улице, влюбляться, держаться за руки, красить губы помадой, смеяться на публике и читать «Лолиту» в Тегеране.

Иногда мы встречались на углу широкого тенистого бульвара, тянущегося в сторону гор, и там гуляли по вечерам. Я размышляла, что бы решили в Революционном комитете,

если бы узнали об этих прогулках. Заподозрили бы нас в политическом сговоре или приняли бы за простых любовников? Они никогда бы не догадались об истинной цели наших встреч, и это отчего-то меня воодушевляло. Как интересно жить, когда любое простое действие требует от тебя сложной подготовки на уровне опасной секретной миссии. При встрече мы всегда чем-то обменивались – книгами, статьями, кассетами, коробками шоколадных конфет, которые ему присылали из Швейцарии, – шоколадные конфеты стоили дорого, особенно швейцарские. Он приносил мне видеокассеты с редкими фильмами, и мы с детьми – а потом и с моими студентками – их смотрели. «Вечер в опере», «Касабланка», «Пират», «Джонни-гитара».

Мой волшебник говорил, что может многое сказать о людях по фотографиям, особенно по форме носа. После некоторых колебаний я принесла ему фотографии девочек и с волнением стала ждать, что он скажет. Он держал снимок в руке, осматривал его с разных ракурсов и коротко комментировал.

Мне хотелось, чтобы он прочел их сочинения и взглянул на их рисунки, прямо там, без промедлений; хотела знать, что он о них подумает. Это хорошие девочки, сказал он, глядя на меня с ироничной улыбкой отца, балующего своих детей. Хорошие? Хорошие девочки? Мне хотелось услышать, что они гениальны, хотя «хороший» – тоже, пожалуй, лестная характеристика. У двух девочек из группы, сказал он,

может быть будущее в литературе. Привести их к тебе? Хочешь с ними встретиться? Нет, ответил он; он пытался избавиться от людей, а не увеличивать число знакомых.

Герой «Приглашения на казнь» Цинциннат Ц. говорит о «редком сорте времени», в котором он живет – «пауза, перебой, – когда сердце, как пух... И еще я бы написал о постоянном трепете... и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, – с чем, я еще не скажу...» Освобождение Цинцинната из тюрьмы зависит от того, удастся ли ему обнаружить эту невидимую пуповину, соединяющую его с другим миром; сможет ли он наконец сбежать из искусственного, фальшивого мира своих палачей. В предисловии к роману «Под знаком незаконнорожденных» Набоков описывает аналогичную связь с другим миром – лужу, которая появляется перед Кругом, его вымышленным героем, в разные моменты: «прореха в его мире, ведущая в мир иной, полный нежности, красок и красоты».

Однажды утром, когда у нас был перерыв и мы пили кофе с пирожными, Митра начала рассказывать, что чувствует, поднимаясь по лестнице в мою квартиру утром по четвергам. Шаг за шагом, сказала она, она постепенно оставляет за собой реальный мир, покидает темную мрачную камеру, в которой живет, и на несколько часов выходит на волю, на солнышко. Когда все заканчивается, она снова возвращается в свою камеру. Тогда мне показалось, что такое восприятие

скорее вредит нашим урокам, ведь они не могли гарантировать «волю и солнышко» за пределами этих стен – а выходит, должны были? Признание Митры вызвало дискуссию о том, как необходима нам эта передышка от реальной жизни, чтобы вернуться в нее отдохнувшими и готовыми с ней столкнуться. Но мне не давало покоя признание Митры – что ждет нас после этой передышки? Хотели мы этого или нет, наша жизнь за пределами этой гостиной требовала свое.

Именно благодаря сказочной атмосфере наших встреч, о которой говорила Митра, мы, восемь участниц этого клуба, смогли делиться сокровенным и поверять друг другу свою тайную жизнь. Благодаря этой ауре волшебного родства даже Махшид и Манна сумели найти способ мирно сосуществовать с Азин в течение нескольких утренних часов по четвергам. Благодаря ей мы смогли бросить вызов давящей реальности за пределами комнаты; мало того, мы смогли отомстить тем, кто контролировал наши жизни. Мы знали, что в эти драгоценные часы можем обсуждать наши горести и радости, наши личные заскоки и капризы; на это время мир останавливался, а мы отрекались от своих обязательств перед родителями, родственниками, друзьями и Исламской Республикой. Мы проговаривали все, что случилось с нами, своими словами, и в кои-то веки смотрели на себя своими глазами.

Обсуждение «Госпожи Бовари» затянулось гораздо дольше положенного времени, но в этот раз никто не хотел ухо-

дить. Описание обеденного стола, ветра в волосах Эммы, лица, которое она видела перед смертью, – мы часами обсуждали эти подробности. Сначала я обозначила часы занятий с девяти до двенадцати, но постепенно уроки все удлинялись, и мы стали расходиться ближе к вечеру. В тот день я предложила не прекращать дискуссию и пригласила всех остаться на обед. Так мы начали обедать вместе.

Помню, в холодильнике у нас были только яйца и помидоры, и мы состряпали омлет с томатами. Через две недели устроили пиршество – каждая приготовила что-то особенное: рис с бараниной, картофельный салат, *долмех*<sup>21</sup>, шафрановый рис и большой круглый торт. К нам присоединилась моя семья, и мы собрались за столом, смеялись и шутили. «Госпожа Бовари» сделала то, чего не смогли годы преподавания в университете: она сблизила нас.

За годы, что девочки приходили ко мне домой, они узнали мою семью, мою кухню, мою спальню, мою манеру одеваться, ходить и говорить. Я никогда не бывала у них дома, не встречалась с их травмированными матерями, застенчивыми сестрами, братьями, ступившими на скользкую дорожку. Мне так и не удалось поместить их личный нарратив в контекст, в определенное место. И все же я встречалась с ними в волшебном пространстве своей гостиной. Они приходили ко мне домой, ставили свою жизнь на паузу и приносили с собой свои секреты, боль и дары.

---

<sup>21</sup> Долма.

Постепенно моя жизнь и семья стали частью этого ландшафта. Они проникали в гостиную в перерывах и покидали ее с началом занятий. Иногда к нам подсаживалась Тахере-ханум, рассказывала истории о «своем районе», как она его называла. Однажды моя дочь Негар влетела в гостиную в слезах. Она была в истерике. Сквозь слезы она твердила, что не могла плакать *там*; не хотела плакать *перед ними*. Манна пошла на кухню, привела Тахере-ханум и принесла стакан воды. Я подошла к Негар, обняла ее и попыталась успокоить. Ласково сняла с нее платок и накидку; волосы под плотным платком взмокли от пота. Я растегнула ее школьную форму и попросила рассказать, что случилось.

В тот день посреди урока естествознания в класс вошли директор и учитель морали и велели девочкам положить руки на парты. Весь класс затем без объяснений вывели, а портфели обыскали на предмет оружия и контрабанды: искали кассеты, книги, самодельные плетеные браслеты. Девочкам устроили личный досмотр, осмотрели ногти. Одна ученица в прошлом году вернулась с семьей из США; ее отвели в кабинет директора, у нее оказались слишком длинные ногти. Там директор самолично подстриг девочке эти ногти коротко, до крови. Когда их отпустили, Негар увидела одноклассницу на школьном дворе; та ждала, пока ей можно будет уйти домой, пряча в кулаке провинившийся палец. Рядом стоял учитель морали и не разрешал к ней приближаться. Невозможность подойти и утешить подругу потрясла Негар не меньше само-

го травмирующего обыска. Она все повторяла: мам, она просто не знает наших правил и запретов; она только что вернулась из Америки – как, по-твоему, она себя чувствует, когда нам приказывают топтать американский флаг и кричать «смерть Америке»? Ненавижу себя, ненавижу, твердила она, а я качала ее в объятиях и вытирала смесь пота и слез с ее мягких щек.

Разумеется, о занятиях тут же забыли. Все попытались отвлечь Негар, стали шутить и рассказывать свои истории – о том, как Нассрин однажды послали в дисциплинарный комитет проверить, не накрашены ли у нее ресницы. Они были длинные, и ее заподозрили в использовании туши. Но это еще ничего, сказала Манна; послушайте, что случилось с подругами моей сестры в Политехническом университете Амира Кабира. В обеденный перерыв три девочки вышли во двор и ели яблоки. Охранники отругали их: мол, они слишком соблазнительно откусывали! Скоро Негар уже смеялась вместе со всеми и наконец ушла обедать с Тахере-ханум.

Представьте: вы шагаете по тенистой тропе. Начало весны, около шести вечера – время перед заходом солнца. Солнце клонится к горизонту, а вы идете одна; вас овеивает предвечерняя прохлада. Вдруг на правую руку падает крупная капля. Неужто дождь? Вы смотрите вверх. Небо все еще обманчиво солнечное, лишь редкие облака виднеются тут и там. Через несколько секунд с неба снова капает. А потом, хотя солнце светит ярко, на вас обрушивается поток воды, как в ванной. Так ко мне приходят воспоминания, резко и неожиданно; промокшая насквозь, я вдруг остаюсь одна на солнечной тропинке с памятью о закончившемся ливне.

Я говорила, что мы собирались в этой гостиной, чтобы защититься от внешней реальности. Я также говорила, что эта реальность навязывала нам себя, как капризный ребенок, не дающий своим измученным родителям ни минуты покоя. Самые интимные сферы нашего бытия находились под влиянием этой реальности и формировались в соответствии с ней; это неожиданно сделало нас сообщницами. Наши отношения стали во многих аспектах личными. Наша тайна не только расцветивала новыми красками самые обычные действия, но вся повседневная жизнь порой становилась похожей на вымысел или роман. Нам пришлось открыть друг другу такие части себя, о существовании которых мы и сами не

подозревали. Я постоянно чувствовала себя так, будто мне приходилось раздеваться перед незнакомыми людьми.

Несколько недель назад, проезжая по Мемориальному бульвару Джорджа Вашингтона, мы с моими детьми разговорились об Иране. С внезапной тревогой я заметила отстраненный тон, которым они говорили о своей родине. Они все повторяли: «они», «они там». Где «там»? Там, где вы с дедом хоронили свою мертвую канарейку под розовым кустом? Там, где бабушка приносила вам шоколадные конфеты, которые у нас дома были под запретом? Мои дети многого не помнили. Некоторые воспоминания вызывали у них печаль и ностальгию; от других они просто отмахивались. Имена моих родителей, тети и дяди Биджана, наших близких друзей – для них они звучали, как колдовские мантры, радостно обретающие форму и тут же растворяющиеся без следа.

Почему мы начали вспоминать? Может, потому что слушали диск «Дорз» – музыку, к которой так привыкли в Иране? Они купили его мне на День матери, и мы слушали его в машине. В динамиках мурлыкал соблазнительно-безразличный голос Джима Моррисона: «Мне бы еще один поцелуй...» Его голос тек, как патока, извивался, закручивался в спирали, а мы разговаривали и смеялись. «Она красотка двадцатого века», – пел Моррисон... Некоторые воспоминания казались детям скучными, а о чем-то они вспоминали с радостью – например, как смеялись над своей матерью, когда

та танцевала по всей квартире, двигаясь из холла в гостиную, и пела «Давай же, детка, зажги мой огонь». Мы так много уже забыли, говорят дети; столько лиц вспоминаются как в тумане. Я спрашиваю: а это помните? А это? И чаще всего они не помнят. Джим Моррисон запел песню Брехта<sup>22</sup>. «Проводи меня в ближайший виски-бар», – затянул он, и мы присоединились: «Не спрашивай зачем». Даже когда мы жили в Иране, мои дети, как большинство детей из их среды, не любили персидскую музыку. Для них персидской музыкой были агитационные песни и военные марши; для удовольствия они слушали совсем другое. Я с потрясением осознала, что в их детских воспоминаниях об Иране остались песни «Дорз» и Майкла Джексона и фильмы братьев Маркс.

Одно воспоминание заставляет их оживиться. Они на удивление отчетливо помнят, что случилось, и помогают воссоздать детали, которые я забыла. Память возвращается, в голове всплывают образы, дети галдят наперебой, и голос Джима Моррисона отступает на второй план. Да, Ясси была там в тот день, верно? Они помнят всех моих студенток, но Ясси лучше остальных, потому что в какой-то момент она стала почти что частью нашей семьи. Все они стали: Азин, Нима, Манна, Махшид и Нассрин часто приходили в гости. Баловали детей, приносили им подарки, хоть я этого и не одобряла. Мои домашние воспринимали девочек как очередной из моих заскоков, с терпением и любопытством.

---

<sup>22</sup> Alabama Song; написана Бертольтом Брехтом и Куртом Вайлем в 1929 году.

Это случилось летом 1996 года, когда дети вернулись домой из школы. Мы слонялись по дому, приготовили поздний завтрак. Накануне Ясси осталась у нас ночевать. В последнее время она часто оставалась, и мы начали воспринимать это как само собой разумеющееся. Спала она в свободной комнате рядом с гостиной; я хотела обустроить там кабинет, но комната оказалась слишком шумная, и я переместилась вниз, в помещение в подвале с окнами, выходящими в садик.

Теперь несостоявшийся кабинет использовали как попало: здесь стоял стол и очень старый ноутбук, валялись книги и моя зимняя одежда; здесь же для Ясси устроили временное спальное место и поставили лампу. Иногда мы часами сидели в этой комнате с выключенным светом – у Ясси были мигрени. Но тем утром она вся сияла. Такой я ее помню: она стоит или сидит на кухне или в холле. Я вижу, как она пародирует какого-нибудь смешного профессора и от хохота сгибается пополам.

Тем летом Ясси часто ходила за мной по дому и рассказывала истории. Нашим местом была кухня или холл; я очень радовалась, что, в отличие от взрослых, Ясси любила мою еду, совсем как мои дети. Она любила и мои так называемые «блинчики», и французские тосты, и мои яичницы с помидорами и овощами. Ни разу она не улыбнулась снисходительно, как мои взрослые друзья, словно говоря: когда ты наконец научишься стряпать? Пока я готовила или резала овощи, она

порхала рядом и рассказывала – в основном байки о своих занятиях в университете. Негар, которой тогда было одиннадцать, садилась с нами, и мы втроем говорили часами.

В тот день Ясси заговорила на излюбленную тему: о своих дядюшках. Их у нее было пятеро и три тетки. Одного казнила Исламская Республика; остальные жили в США или Европе. Тетки Ясси были что называется «солью земли», на них весь дом держался. Они работали дома и вне дома. Их выдали замуж по договоренности в очень юном возрасте за мужчин намного старше, и за исключением одной сестры – матери Ясси – всем приходилось мириться с избалованными, капризными мужьями, которых тетки превосходили и в интеллектуальном отношении, и во многих других.

С мужчинами – ее дядюшками – Ясси связывала свои надежды на лучшее будущее. Как Питер Пэн, они иногда прилетали из Нетландии. Их приезд в ее родной город всегда сопровождался бесконечными сборищами и праздниками. Их рассказы завораживали. Они видели то, что не видел никто другой, делали то, что никто больше не делал. Они наклонялись к ней, играли с ней и спрашивали: чем занималась, малышка?

Утро было тихое и спокойное. Я сидела, свернувшись калачиком в кресле в гостиной, в своем длинном домашнем платье; Ясси рассказывала о стихотворении, которое прислал ей дядя. Тахере-ханум возилась на кухне. Через открытую дверь столовой до нас доносились разные шумы: звук

лющейся из крана воды, тихое бряцанье кастрюль и сковородок, обрывок фразы, адресованной детям, которые сидели в холле рядом с кухней и то ссорились, то смеялись. Я помню желтые и белые нарциссы; вся гостиная была заставлена вазами с нарциссами. Я поставила вазы не на столы, а на пол рядом с картиной, изображавшей желтые цветы в двух синих вазах – та тоже стояла на полу.

Мы ждали фирменного турецкого кофе моей матери. Мама варила отменный кофе по-турецки – густой, сладкий с горчинкой. Под предлогом кофе она периодически являлась к нам без приглашения. В течение дня она открывала смежную дверцу, разделявшую наши квартиры, и звала нас. «Тахере, Тахере!» – кричала она, и даже если мы с Тахере отвечали хором, продолжала кричать. Лишь убедившись, что мы не хотим кофе, она пропадала и иногда не тревожила нас целый час.

Сколько себя помню, для матери кофе был способом коммуникации. Ей было любопытно, чем мы там занимаемся по четвергам, но гордость не позволяла просто ввалиться к нам, поэтому она проникала в наше святилище под предлогом кофе. Однажды утром она «случайно» поднялась наверх и позвала меня из кухни. «Твои гости хотят кофе?» – спросила она и взглянула на моих любопытных улыбающихся девочек через открытую дверь. Так по четвергам у нас появился еще один ритуал: кофейный час с моей мамой. Вскоре у нее образовались любимцы среди моих студенток; она пыталась

наладить с ними отдельные отношения.

Сколько себя помню, мама всегда приглашала на кофе чужих людей. Однажды нам пришлось дать от ворот поворот качку пугающей наружности лет тридцати пяти, который по ошибке позвонил к нам в квартиру и попросил увидеть даму, пригласившую его «зайти на кофе», если он будет «в районе». Мамиными завсегдатаями были и охранники из госпиталя напротив. В первые несколько раз они стояли с почтительным видом, держа кофейные чашечки в руках; затем, по ее настоянию, стали смущенно садиться на краешек стула и пересказывать сплетни о том, что происходило у соседей и в госпитале. Так мы узнавали обо всем случившемся за день.

Мы с Ясси ждали кофе, наслаждаясь бездельем, когда в дверь позвонили. Звонок прозвучал громче обычного, потому что на улице было тихо. Сейчас я снова слышу его в своей памяти; слышу, как Тахере-ханум шаркает в тапках к двери. Ее шаги удаляются; она спускается по лестнице и открывает дверь подъезда. Слышу два голоса: ее и мужской; она обменивается с кем-то парой слов.

Она вернулась ошарашенная. Приходили два офицера в штатском, объяснила она, из Революционного комитета. Хотели обыскать квартиру жильца мистера Полковника. «Мистер Полковник» был нашим новым соседом; мать моя упорно его игнорировала из-за внешности и манер нувориша. Он уничтожил красивый заросший сад рядом с нашим домом и построил на его месте уродливое серое трехэтажное здание.

Сам поселился на втором этаже, дочь его – на третьем, а первый он сдавал. Тахере-ханум объяснила, что «они» хотели арестовать жильца мистера Полковника, но в дом их не пустили. Поэтому они хотели проникнуть к Полковнику через наш двор – перелезть через стену и вломиться в дом соседа. Мы, очевидно (или неочевидно), не собирались им этого разрешать. Как мудро рассудила Тахере-ханум, что это за сотрудник Революционного комитета, если у него нет даже ордера на обыск и ему приходится вламываться в чужие дома через соседские дворы? Комитет каждый день врывается в дома приличных людей без всяких ордеров, так почему они оказались столь беспомощными, когда дело дошло до настоящего преступника? У нас с соседом имелись разногласия, но мы не собирались сдавать его комитету.

Пока Тахере-ханум рассказывала нам все это, на улице разразился переполох. До нас донеслись нетерпеливые мужские голоса; затем кто-то побежал и завелся мотор. Не успели мы закончить с нашей критикой комитета, как в дверь снова позвонили. На этот раз более настойчиво. Тахере-ханум вернулась через несколько минут в сопровождении двух юношей, одетых по последней моде Стражей Революции в униформу цвета хаки. Они объяснили, что им уже не нужно карабкаться на нашу стену, чтобы спрыгнуть в соседский двор; преступник сам забрался на нее, спрыгнул в наш двор и теперь прячется там вооруженный. Стражи хотели воспользоваться нашим балконом и балконом третьего этажа, чтобы

отвлечь нарушителя, открыв по нему огонь; в то время их коллеги зайдут с другой стороны и поймают его. Наше разрешение не требовалось, но стражи с уважением относились к «женам и матерям наших граждан» и все равно его спросили. Намеками и жестами они дали понять, что преступник, за которым они охотятся, очень опасен – он оказался вооруженным наркоторогом, за которым уже числилось несколько преступлений.

К двум стражам присоединились еще трое и двинулись наверх. Позднее я поняла, что в тот момент подумала о том же, о чем Тахере-ханум. Там, наверху, в углу большой террасы мы спрятали нашу большую и запрещенную спутниковую тарелку. Позже мы все удивлялись, что в тот момент нас больше всего заботили не наши жизни и не присутствие в нашем доме пятерых мужчин с пистолетами, которые планировали устроить перестрелку с соседом, вооруженным и прячущимся где-то в саду. Как и все нормальные иранцы, мы были не совсем чисты перед законом и нам было что скрывать: мы боялись за нашу антенну. Наверх отправили Тахере-ханум – та была более хладнокровной, чем я, и лучше умела разговаривать с властями. Ясси поручили присматривать за двумя моими ошарашенными детьми, а я сопровождала двух стражей на балкон, примыкавший к спальне; внизу, под балконом, раскинулся сад. Помню, посреди этого переполоха я подумала: теперь Ясси будет что рассказать дядюшкам. Спорим, даже у них не найдется истории лучше этой.

Даже после того, как мы с детьми попытались вспомнить этот день в подробностях, я все равно путаюсь в показаниях. В моей памяти я находилась везде одновременно. Как джинн из мультика «Аладдин», я то стояла на балконе под перекрестным огнем и слушала, как стражи выкрикивали угрозы в адрес преступника, припоминая ему все грехи и намекая, что у него есть «высокопоставленные друзья» – видимо, поэтому у них не было официального ордера, – то уже через секунду оказывалась наверху, где Тахере-ханум уверяла меня, что стражи слишком заняты и не обратили внимания на нашу спутниковую тарелку. Позже она сказала мне, что стражи пытались использовать ее как живой щит, рассудив, что в них преступник стрелять будет, а в нее – точно нет.

Между выстрелами мои новые знакомые, комментирующие эти странные события, признались, что если данное предприятие увенчается успехом, нашего соседа, скорее всего, все равно отпустят его высокопоставленные покровители. Страж Революции настойчиво предостерегал меня насчет злобной натуры этого преступника, который сидел в укрытии в дальнем конце нашего сада, спрятавшись в щедрой тени моей любимой ивы. С комичным отчаянием стражи стали жаловаться на безнадежность своей миссии – нам, которые считали обе стороны в этой перестрелке в равной степени преступниками и нарушителями нашей частной собственности и желали избавиться от них как можно скорее.

Игра вскоре переместилась во двор другого нашего сосе-

да; двое его перепуганных детей и няня сбежали на улицу. Выстрелом соседу выбило окно. Преступник на некоторое время укрылся в небольшом сарае в глубине их сада у плавательного бассейна, но теперь стражи окружили его с нескольких сторон. Оружие он выбросил в бассейн – зачем не знаю, – и сцена преследования переместилась на улицу. Мы привели к нам двух сыновей соседа. Мои и соседские дети и мы с Ясси высунулись в окно, глядя, как комитетские затаскивают свою добычу на заднее сиденье белой патрульной «тойоты»; мужчина все время не переставал голосить, звал жену и сына и предупреждал жену, чтобы та ни при каких обстоятельствах не открывала дверь дома.

В конце концов мы все-таки выпили кофе: все участники действия – Ясси, Тахере-ханум, дети и я, а также охранники из госпиталя собрались в гостиной моей матери и рассказали свои версии истории. Охранники дали нам кое-какую инсайдерскую информацию о жильце мистера Полковника. Ему было тридцать с небольшим. Своей надменностью и грубостью он заслужил ненависть и страх больничных работников. Оказалось, последние шесть недель наша улица находилась под наблюдением сотрудников Революционного комитета – тех самых, что сегодня наконец совершили арест.

Мы все согласились, что здесь имели место внутренние междоусобные разборки, и преступник, скорее всего, работал на кого-то в высших эшелонах. Это объясняло, откуда у такого молодого человека деньги на старинные автомобили,

что стояли у него в гараже, опиум и аренду дома в нашем районе с его заоблачными ценами. Охранникам госпиталя сообщили, что жилец нашего соседа принадлежал к террористической группировке, ответственной за убийства в Париже на протяжении последних десяти лет. По прогнозу нашего самопровозглашенного следственного комитета, скоро его должны были освободить. Мы не ошиблись: его не просто освободили, но и вскоре после нашего возвращения он появился у нас на пороге и попытался убедить Тахере-ханум подать жалобу против сотрудников Революционного комитета, вломившихся в наш дом, чтобы его арестовать. Но мы жаловаться не стали.

Вечером мы с мужем пили чай дома у соседа, где организовалась очередная встреча; дети, заинтригованные событиями дня, решили исследовать все места, где происходила перестрелка. В сарае они нашли черную кожаную куртку арестованного, и в ней – маленький кассетный магнитофон. Мы были законопослушными гражданами и, прослушав невнятный разговор о каких-то грузовиках, отдали магнитофон и куртку комитету, несмотря на горячие протесты наших детей.

Эту историю потом пересказывали много раз, в том числе и в следующий четверг, когда Тахере-ханум и мои дети, к тому моменту утратившие свое робкое любопытство, а с ним и необходимое чувство приличия, которое прежде не позволяло им заходить в гостиную во время наших занятий, разыг-

рали сцену погони перед заинтересованной и улыбающейся аудиторией. Интересно, что «они» – люди из Революционного комитета – в этой сценке выглядели совершенно беспомощными, неумелыми и непрофессиональными. Ясси заметила, что в боевиках все совсем иначе. Нас отнюдь не утешало, что наши жизни были в руках этих неуклюжих идиотов. Несмотря на все шутки и силу, которую мы ощутили тогда, дом после этого стал немного менее безопасным местом и еще долго мы вздрагивали при звуках дверного звонка.

Более того, этот звонок стал предостережением о вторжении другого мира, которое мы пытались обратить в шутку. Через несколько месяцев в дверь снова позвонили, и в наш дом нагрянули двое других сотрудников Революционного комитета. Они пришли обыскать наш дом и забрать спутниковую тарелку. На этот раз никто уже не геройствовал: когда они ушли, дом погрузился почти что в траур. Моя дочь в ответ на мои обвинения в избалованности с горьким презрением заметила, что мне не понять ее беду. Разве меня в ее возрасте наказывали за цветные шнурки, за то, что бегала в школьном дворе и облизывала мороженое на улице?

В следующий четверг мы подробно обсудили это в группе. Мы снова перескакивали с обсуждения книг на нашу жизнь: стоит ли удивляться, что мы все оценили «Приглашение на казнь»? Мы все были жертвами произвола тоталитарного режима, который постоянно вмешивался в самые интимные сферы нашей жизни и насаждал нам свой безжалостный вы-

мысел. Было ли это правление на самом деле правлением ислама? Какие воспоминания мы создаем для наших детей? Такое постоянное вторжение и хроническая нехватка доброты пугали меня сильнее всего.

За несколько месяцев до этого Манна и Нима явились ко мне за советом. Они откладывали деньги и теперь раздумывали, потратить ли их на «жизненно необходимые» вещи, как они их называли, или на спутниковую тарелку. Денег у них было мало; небольшую сумму, что имелась, они заработали репетиторством. Как и многие другие молодые пары, после четырех лет брака они все еще не могли позволить себе отдельную квартиру. Они жили с мамой и младшей сестрой Манны. Я не помню, что посоветовала им в тот день, но знаю, что вскоре после этого они купили спутниковую тарелку. Они пришли от нее в полный восторг, и с тех пор каждый день рассказывали про новый фильм – классику американского кинематографа – который посмотрели накануне.

Спутниковые тарелки пользовались в Иране огромной популярностью. Их мечтали установить не только люди вроде меня, принадлежавшие к так называемой «интеллигенции». Тахере-ханум рассказывала, что в менее зажиточных и более религиозных кварталах Тегерана семьи, у которых были тарелки, «сдавали» соседям время перед телевизором. Я вспомнила, как во время поездки в США в 1996 году видела Дэвида Хассельхофа, звезду «Спасателей Малибу»; тот хвастался, что его сериал – самый популярный в Иране.

Строго говоря, Манна и Нима никогда не были моими

студентами. Они учились на последнем курсе факультета английской литературы в Тегеранском университете, готовились получать магистерскую степень. Они читали мои статьи, слышали о моих занятиях от друзей и однажды просто пришли на мою лекцию. Потом спросили разрешения посещать мои классы просто для себя. После этого они не пропускали ни одного занятия, ходили на мои выступления и публичные лекции. Я видела их на этих мероприятиях: они обычно стояли у двери и всегда улыбались. Я чувствовала, что этими улыбками они побуждали меня все больше рассказывать о Набокове, Беллоу, Филдинге; они сообщали, как это жизненно важно – продолжать, чего бы это ни стоило мне или им.

Они познакомились в Ширазском университете и полюбили друг друга по большей части из-за общего интереса к литературе и изолированности от университетской жизни. Манна потом объяснила, что в основе их привязанности лежали прежде всего слова. В период ухаживания они писали друг другу письма и читали стихи. Они впали в зависимость от безопасного мира, сплетенного из слов, – их собственного тайного мира, где все враждебное и неконтролируемое становилось дружелюбным и понятным. Она писала диссертацию по Вирджинии Вулф и импрессионистам, он – по Генри Джеймсу.

Когда Манна радовалась, она делала это очень тихо; ее радость, казалось, происходила из неведомых глубин ее суще-

ства. Я все еще помню первый день, когда увидела их с Нимой в своем классе. Они напомнили мне моих двоих детей, когда те сговаривались, чтобы чем-то меня порадовать. Сначала Нима показался мне более разговорчивым из них двоих. Он всегда шел со мной рядом, а Манна – чуть позади. Нима говорил, рассказывал истории, а Манна заглядывала за его плечо, пытаясь уловить мою реакцию. Сама она редко подавала голос. Лишь через несколько месяцев, когда по моему настоянию она показала мне свои стихи, ей пришлось говорить со мной напрямую, а не через Ниму.

Я назвала их созвучными именами, хотя в реальности их звали иначе. Но я так привыкла видеть их вместе, привыкла к их постоянному выражению одинаковых мыслей и чувств, что для меня они были как брат с сестрой, только что обнаружившие в садике позади дома какое-то чудо, проход в волшебное царство. Я же была их феей-крестной, безумной колдуньей, которой они могли довериться.

Пока мы разбирали бумаги и обустроивали мой домашний кабинет, расставляя книги и раскладывая конспекты по папкам, они рассказывали байки и сплетни об Тегеранском университете, где я служила несколько лет назад. Многие из тех, о ком они говорили, были мне знакомы, включая нашего любимого злодея профессора Икс. Тот питал к Ниме и Манне необъяснимую упорную ненависть. Он был одним из немногих профессоров, кто не уволился или не подвергся увольнению с тех пор, как я ушла из этого университета. Ему ка-

залось, что Нима и Манна недостаточно его уважали. Он выработал эффективный способ решения всех сложных вопросов литературной критики: по всем спорным темам устраивал голосование. Голосовали, поднимая руки, поэтому все дебаты обычно решались в его пользу.

Но главным камнем преткновения стала курсовая Манны по Роберту Фросту. На следующем занятии он сообщил группе, в чем не согласен с ее работой, и попросил учеников проголосовать. Все, кроме Манны, Нимы и еще одного человека проголосовали в поддержку профессора. После голосования профессор повернулся к Ниме и спросил его, с чего он вдруг переобулся. Неужели жена промыла ему мозги? Чем сильнее он цеплялся к ним, чем чаще выставлял их идеи на голосование, тем упрямее они становились. Они приносили ему книги известных критиков, в которых содержалась поддержка их идей и осуждение его позиции. В очередном приступе ярости он запретил им посещать его занятия.

Один из студентов профессора Икс решил написать курсовую по «Лолите». Он не пользовался источниками и даже не читал Набокова, но его работа восхитила профессора, у которого был зуб на юных девочек, портящих жизнь интеллектуалам. Этот студент хотел написать, как Лолита соблазнила Гумберта, «поэта-интеллектуала», и разрушила его жизнь. С глубокой серьезностью профессор Икс спросил студента, знал ли он о сексуальных извращениях самого Набокова. Голосом, дрожащим от презрения, Нима пе-

редразнил профессора, скорбно качающего головой; он вещал о том, как в каждом втором романе какая-нибудь легкомысленная кокетка разрушает жизнь умного мужчины. Манна клялась, что, рассуждая на свою любимую тему, он бросал на нее ядовитые взгляды. Но несмотря на свою позицию насчет «легкомысленных кокеток» Набокова, когда пришло время профессору подыскивать себе новую жену, его основным условием стал возраст не старше двадцати трех лет. Его вторая жена, подобранная должным образом через сваху, была моложе его на несколько десятков лет.

Однажды утром в четверг было так жарко, что зной, казалось, проникал даже в прохладу нашего дома с кондиционером. Мы всемером разговаривали о том о сем перед началом занятий. Разговор зашел о Саназ. На прошлой неделе та пропустила урок, не позвонив и не объяснившись, и теперь мы не знали, придет ли она. Никто ничего о ней не слышал, даже Митра. Мы подозревали, что ее бедовый братец что-то задумал. Он давно стал постоянным предметом наших разговоров, одним из «злодеев» мужского пола, которых мы обсуждали каждую неделю.

– Нима говорит, что мы не понимаем, как трудно мужчинам в Иране, – с легким сарказмом проговорила Манна. – Мол, они тоже не знают, как себя вести. И иногда ведут себя, как грозные мачо, потому что чувствуют себя уязвимыми.

– Что ж, в какой-то мере это так, – ответила я. – Ведь для отношений нужны двое, а если сделать половину населения невидимками, вторая половина тоже неизбежно пострадает.

– Можете представить мужчину, который воспринимает прядь моих волос как сексуальную провокацию? – спросила Нассрин. – Или сходит с ума при виде большого пальца моей ноги... Подумать только! – воскликнула она. – Мой палец ноги – смертельное оружие!

– Женщины, покрывающие себя, содействуют режиму и

поддерживают его, – непокорно произнесла Азин.

Махшид не сказала ни слова, внимательно разглядывая кованую ножку стола.

– А те, кто красит губы в огненно-красный цвет и флиртует с профессорами, – Манна пригвоздила Азин ледяным взглядом, – должно быть, делают это ради борьбы за благое дело? – Азин покраснела и ничего не ответила.

– Бороться с чрезмерным сексуальным аппетитом у мужчин можно, отрезав им гениталии, – невозмутимо предложила Нассрин. Она читала книгу Наваль аль-Садави<sup>23</sup> о жестокости по отношению к женщинам в некоторых мусульманских сообществах. Садави была врачом и подробно описывала кошмарные последствия калечащих операций на гениталиях, проведенных маленьким девочкам якобы с целью умерить их сексуальные аппетиты. – Я работала над текстом для моего переводческого проекта...

– Переводческого?

– А вы не помните? Я же сказала отцу, что перевожу мусульманские тексты на английский по просьбе Махшид.

– Но я думала, это всего лишь предлог, чтобы ты могла ходить на встречи, – сказала я.

– Так и было, но потом я решила заниматься этими переводами три часа в неделю, иногда и больше, в качестве рас-

---

<sup>23</sup> Наваль аль-Садави (1931–2021) – египетская писательница-феминистка, автор множества книг о женщинах в исламе; особое внимание в своих книгах уделяла практике калечащих операций на женских половых органах.

платы за свою ложь. Так я договорилась с совестью, – с улыбкой произнесла она. – Так вот, хотите верьте, хотите нет, но сам аятолла не новичок в сексуальных вопросах, – продолжала Нассрин. – Я переводила его великий труд «Политические, философские, социальные и религиозные принципы аятоллы Хомейни», и у него там несколько интересных замечаний.

– Но его уже перевели, – заметила Манна. – Какой смысл делать это еще раз?

– Да, – отвечала Нассрин, – перевели некоторые части, но сочинение стало предметом шуток; наши посольства за границей выяснили, что люди читают книгу не ради нравственных наставлений, а чтобы посмеяться над ней. С тех пор эти переводы очень трудно раздобыть. И мой перевод очень тщательный, снабжен ссылками и перекрестными ссылками на труды других уважаемых людей. Так, к примеру, знаете ли вы, что секс с животными считается средством излечения от неумного сексуального аппетита? Существует также проблема секса с курами. Если человек занимался сексом с курицей, можно ли потом ее есть? Мало ли у кого возникнет такой вопрос? Наш лидер подсказывает ответ: нет, ни самому человеку, ни его ближайшим родственникам и людям из соседнего дома нельзя есть мясо этой курицы. Но если сосед живет, скажем, за два дома, уже можно. Видите, вместо того, чтобы читать Джейн Остин и Набокова, мой отец предпочитает, чтобы я тратила время на такие тексты, – с озорством

проговорила она.

Услышав о подобном содержании работ аятоллы Хомейни от осведомленной Нассрин, мы не удивились. Она рассказывала о знаменитом трактате Хомейни, нашем местном эквиваленте диссертации – все, кто достигал статуса аятоллы, должны были написать такой трактат и в нем ответить на вопросы, которые могут задать им ученики, и предложить решение их проблем. Многие другие до Хомейни писали почти идентичные трактаты. Меня беспокоило другое: что люди, которые правили нами и в чьих руках находилась наша судьба и судьба нашей страны, воспринимали эти тексты на полном серьезе. Каждый день на национальном телевидении и радио эти охранители морали и культуры делали аналогичные заявления и обсуждали вопросы, подобные упомянутой Нассрин дилемме с курами, как будто это была самая серьезная тема для обдумывания и размышления.

В разгар этого глубокомысленного обсуждения, когда Азин хохотала, а Махшид мрачнела с каждой секундой, мы услышали скрип тормозов, и я догадалась, что это брат Саназ ее привез. Последовала пауза; хлопнула дверца машины, зазвонил звонок, и через несколько минут вошла Саназ, с порога бросившись извиняться. Она, казалось, так переживала из-за опоздания и пропущенного урока, что готова была расплакаться.

Я попыталась ее успокоить, а Ясси пошла на кухню сделать ей чай. Саназ держала в руках большую коробку с пи-

рожными. Это зачем, Саназ? На прошлой неделе была моя очередь приносить пирожные, неуверенно произнесла она, вот я и принесла их сейчас. Я забрала у нее пирожные – у нее вспотели ладони – а она тем временем развернула накидку и сняла платок. Ее волосы были стянуты резинкой. Лицо было бледным и несчастным.

Наконец она села на свое обычное место рядом с Митрой; в руках она держала большой стакан воды со льдом, а на столике перед ней стояла чашка чая. Мы молча ждали, что она скажет. Азин попыталась пошутить, нарушив молчание – мы-то думали, ты поехала в Турцию на помолвку и забыла нас пригласить. Саназ робко улыбнулась и вместо ответа глотнула воды. Казалось, она одновременно хочет что-то сказать и не желает ничего говорить. Мы услышали слезы в ее голосе прежде, чем те заблестели в глазах.

Рассказанная ей история оказалась до боли знакомой. Две недели назад Саназ с пятью подругами поехали к Каспийскому морю на двухдневные каникулы. В первый день они решили навестить жениха подруги, который жил на вилле неподалеку. Саназ подчеркивала, что все они были прилично одеты, в платках и длинных накидках. Они сидели в саду: шесть девушек и один юноша. В доме не было алкогольных напитков, запрещенных кассет и дисков. Саназ словно намекала, что если бы все это было, они бы заслужили того обращения, которому подверглись в руках Стражей Революции. Потом появились «они» – вооруженные стражи нрав-

ственности; они возникли неожиданно, перепрыгнув через низкие стены. Им якобы сообщили о происходящих в доме незаконных действиях; они потребовали провести обыск. Не найдя к чему придраться во внешности девушек, один из стражей сказал: *вот смотрю я на вас, с вашими западными манерами...* Что значит «с западными манерами», спросила Нассрин? Саназ взглянула на нее и улыбнулась. Уточню, когда в следующий раз встречу этого стража, сказала она. Правда в том, что при обыске не нашлось ни алкогольных напитков, ни кассет и дисков, но поскольку ордер на обыск у стражей имелся, они не желали уходить ни с чем. Их всех отвели в специальную тюрьму для нарушителей морали. Там, несмотря на протесты, их загнали в тесную темную камеру и оставили на ночь; кроме них, там было несколько проституток и наркоманка. Охранники заходили в камеру два-три раза за ночь, будили тех, кто уснул, и осыпали их проклятиями.

Там их держали сорок восемь часов. Несмотря на многократные просьбы, им не разрешали позвонить родителям. В назначенное время они могли выйти в туалет, но кроме этого покидали камеру лишь дважды: в первый раз их отвели в больницу, где женщина-гинеколог проверила их на девственность в присутствии студентов-медиков, наблюдавших за осмотром. Затем, не удовлетворившись ее вердиктом, стражи отвели девушек в частную клинику на повторную проверку.

На третий день консьержвиллы, которую снимали девоч-

ки, сообщил их встревоженным родителям из Тегерана, что их пропавшие дети, скорее всего, попали в автомобильную аварию и погибли. Родители тут же отправились в курортный городок искать дочерей и наконец нашли их. Девочкам устроили общий суд, заставили подписать документ с признанием в грехах, которых они не совершали, и вынесли наказание – двадцать пять ударов плетью.

У худенькой Саназ под накидкой была футболка; тюремщики пошутили, что раз на ней лишняя одежда, боли она не почувствует, и секли ее дольше положенного. Но физическая боль для нее была не так страшна, как унижительные проверки на девственность и ненависть к себе, которую она испытала, подписав вынужденное признание. В каком-то извращенном смысле физическое наказание стало для нее даже источником удовлетворения, компенсацией за то, что она подверглась остальным унижениям.

Когда их наконец освободили, а родители отвезли их домой, Саназ пришлось столкнуться с еще одним унижением: упреками брата. А что они хотели, заявил он? Как можно было отпустить шесть неуправляемых девчонок в поездку без мужского глаза? Почему никто никогда его не слушает – неужто потому, что он на несколько лет моложе его бестолковой сестрицы, которая давно уже должна быть замужем? Родители Саназ хоть и сочувствовали ей и тому, что ей пришлось пережить, вынуждены были согласиться, что, возможно, действительно не стоило отпускать ее в эту поездку

– и дело не в том, что они ей не доверяли, просто условия в стране сейчас были неподходящие для таких вольностей. Мало того, что мне пришлось пережить унижение, подытожила Саназ; я теперь и виновата. Мне запретили пользоваться моей же машиной, а мой умный младший братик теперь повсюду меня сопровождает.

Я не могу забыть историю Саназ. Я постоянно возвращаюсь к ней, воссоздаю ее по кусочкам – до сих пор. Стена в саду, шесть девушек и юноша на веранде сидят и рассказывают анекдоты, смеются. А потом приходят «они». Я помню этот случай так же отчетливо, как многие другие инциденты из моей жизни в Иране; я помню даже события, о которых мне рассказывали или писали после моего отъезда. Странно, но они тоже стали моими воспоминаниями.

Возможно, лишь сейчас, находясь на расстоянии, когда я могу говорить о пережитом открыто и без страха, я могу начать осмыслять произошедшее и преодолевать свое ужасное чувство беспомощности. В Иране, сталкиваясь с повседневной жестокостью и унижением, мы испытывали странную отстраненность. Там мы говорили о случившемся так, будто все произошло не с нами; как пациенты с шизофренией, мы старались держаться подальше от своего второго «я», представлявшего нам одновременно знакомым и чуждым.

В своих мемуарах «Память, говори» Набоков описывает акварельную картину, которая висела над его кроватью, когда он был маленьким. На этом пейзаже узкая тропинка уходила в чашу густых деревьев. Его мама читала ему сказку о мальчике, который однажды исчез, попав в картину, что висела над его кроватью; маленький Володя стал мечтать, чтобы с ним случилось то же самое, и молился об этом каждый вечер. Представляя нас в моей гостиной в Тегеране, вы должны понимать, что мы все стремились к тому же – к этому опасному исчезновению. Чем больше мы отгораживались от мира в нашем святилище, тем более чуждой казалась повседневная жизнь. Я ходила по улицам и спрашивала себя: неужели это мои люди, мой родной город? Неужели это я?

Ни Гумберту, ни слепому цензору никогда не удавалось по-настоящему обладать своими жертвами: те неизменно ускользали, как ускользают объекты фантазий, всегда одновременно находящиеся на расстоянии вытянутой руки и вне доступа. Даже сломленные жертвы не хотят подчиняться.

Об этом я думала однажды вечером в четверг после занятий, просматривая оставленные девочками литературные дневники с новыми сочинениями и стихами. В начале наших занятий я попросила описать, как они себя представляют. Тогда они не были готовы ответить на этот вопрос, но время

от времени я его повторяла, спрашивала снова. Сейчас, сидя на диване и подобрав ноги, я читала их недавние ответы – десятки страниц.

Один из ответов сейчас лежит передо мной. Он принадлежит Саназ; она сдала его вскоре после тюремного заключения в приморском городке. Это простой черно-белый рисунок обнаженной девушки; ее белое тело заключено в черный пузырь. Она сидит, скрючившись почти в позе эмбриона и обнимая согнутое колено. Другую ногу девушка подвернула под себя. Длинные прямые волосы падают на спину, очерчивая ее контур, но лица не видно. Пузырь держит в воздухе огромная птица с длинными черными когтями. Но меня сильнее всего заинтересовали не эти образы с очевидным смыслом – девушка, пузырь – а небольшая деталь: девушка протягивает руку из пузыря и держится за коготь птицы. Ее обнаженная покорность зависит от этого когтя, и она к нему тянется.

Рисунок тут же заставил меня вспомнить слова Набокова из его знаменитого послесловия к «Лолите»; там он рассказывает, что «первая маленькая пульсация „Лолиты“» пробежала в нем в 1939 или начале 1940 года, когда он лежал в постели с тяжелым приступом межреберной невралгии. Он вспоминает «начальный озноб вдохновения», который «был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещивания со стороны какого-то ученого, набросала углем пер-

вый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен».

Два образа – из романа и реальной жизни – вскрывают ужасную правду. Ее ужас простирается далеко за пределы самого факта совершенного в каждом случае насилия. Он простирается за пределы клетки, демонстрируя короткую дистанцию и близость жертвы к тюремщику. И в каждом случае наше внимание направлено в болезненную точку, где животное в неволе касается прутьев решетки, на невидимый контакт кожи и холодного металла.

Большинство девочек выражали свои чувства словами. Манна видела себя туманом, обволакивающим твердые предметы, принимающими их форму; самими предметами она не становилась никогда. Ясси описывала себя как «фрагмент». Нассрин, пытаясь описать себя, однажды привела определение слова «парадокс» из Оксфордского толкового словаря. Почти во всех описаниях, данных девочками, подразумевалось, что они рассматривали себя в контексте внешнего мира, мешающего составить четкое и отдельное представление о себе.

Манна однажды написала про розовые носки, за которые получила нагоняй от Мусульманской студенческой ассоциации. Когда она рассказала об этом своему любимому профессору, тот пошутил, что она уже обворожила своего мужчину – Ниму – и поймала его в ловушку; теперь ей ни к чему

розовые носки.

Между этими студентками и всеми женщинами их поколения и женщинами моего поколения была одна фундаментальная разница. Мое поколение жаловалось на утрату, бездну, что разверзлась в нашей жизни, когда у нас украли прошлое, сделав нас изгнанницами в собственной стране. Но при этом у нас было прошлое, и мы могли сравнить его с настоящим; у нас остались воспоминания и образы того, что у нас забрали. А мои девочки – те постоянно говорили о поцелуях украдкой, фильмах, которые они никогда не видели, ветре, который никогда не чувствовали на своей коже. У поколения этих девочек не было прошлого. Их память представляла собой невысказанное желание, то, чего у них никогда не было. Именно эта нехватка, тоска по обычным аспектам жизни, которые мы, старшие, принимали как должное, придавали их словам прозрачность и сияние, роднившие их с поэзией.

Интересно, как отреагируют люди, сидящие рядом со мной в кафе в этой другой стране, не в Иране, если я повернусь к ним сейчас, в этот самый момент, и заговорю о жизни в Тегеране? Станут ли они осуждать пытки, казни и экстремальные проявления агрессии? Пожалуй, да. Но что они скажут о наших повседневных актах неповиновения – например, о желании носить розовые носки?

Я спрашивала своих студентов, помнят ли они сцену танца из «Приглашения на казнь» – где тюремщик приглашает

Цинцинната на танец. Они начинают вальсировать и выходят в коридор. В углу натыкаются на охранника: «описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока». Это хождение кругами является основным движением в романе. Покуда Цинциннат принимает фальшивый мир, который навязывают ему тюремщики, он остается заключенным и движется по ими созданному кругу. Самое страшное преступление, совершенное тоталитарными умами, заключается в том, что те вынуждают своих граждан – и своих жертв в том числе – участвовать в собственной казни. Это ли не проявление абсолютной жестокости? Мои студентки видели это в трансляциях показательных судов по телевизору и воспроизводили каждый раз, выходя на улицы одетыми так, как им велели. Они не принадлежали к толпе, наблюдавшей за казнями, но и силы протестовать у них тоже не было.

Выйти из этого круга, прервать танец с тюремщиком можно было лишь одним путем – отыскав способ сохранить свою индивидуальность, уникальное свойство, не поддающееся описанию и отличающее одного человека от другого. Вот почему в их мире ритуалы – пустые ритуалы – имели столь центровое значение. Наши тюремщики не слишком отличались от палачей Цинцинната. Они вторгались в личные пространства и пытались формировать все наши поступки; они хотели заставить нас стать одними из них, и это тоже была форма казни.

В конце романа Цинцинната ведут на эшафот; он кладет голову на плаху, готовясь к казни, и повторяет волшебное заклинание: «сам, сам». Это постоянное напоминание о его самости, его попытке писать, выражать свои мысли и создавать язык, отличный от навязываемого им тюремщиками, – все это в последний момент спасает его; он берет ситуацию в свои руки и уходит на голоса, манящие его из другого мира, а помост и искусственный мир вокруг него рассыпаются и исчезают вместе с палачом.

# Часть II

## Гэтсби

### 1

Молодая женщина стоит одна в толпе в Тегеранском аэропорту; на спине рюкзак, с плеча свисает большая сумка, впереди – внушительный чемодан, который она толкает перед собой мыском ботинка. Ее отец и муж – она замужем два года – где-то там, с остальными вещами. Она стоит в зоне таможенного контроля со слезами на глазах, в отчаянии высматривая хоть одно сочувственное лицо, кого-то, кого можно схватить за рукав и сказать: как же я рада, как счастлива наконец оказаться дома! Наконец-то я здесь и теперь уже навсегда. Но никто даже не улыбается. Стены аэропорта словно подменили, отовсюду с гигантских постеров с укором взирет аятолла. Атмосфере вторят лозунги, начертанные черными и кроваво-красными буквами: «Смерть Америке! Долой империализм и сионизм! Америка – наш враг номер один!»

Она пока не поняла, что родина, оставленная семнадцать лет назад – тогда ей было тринадцать – уже не является ей домом. Она стоит одна, эмоции раздирают ее и готовы прорваться наружу от малейшего толчка. Я стараюсь не смотреть

в ее сторону, не задеть ее, пройти мимо незамеченной. Но никак не получается.

Этот аэропорт – аэропорт Тегерана – всегда пробуждает во мне все худшее. Когда я впервые отсюда улетала, он был гостеприимным и волшебным местом. Здесь был прекрасный ресторан, где вечером в пятницу устраивали танцы, и кофейня с большими французскими окнами, выходящими на балкон. В детстве мы с братом стояли у этих окон как замороженные, ели мороженое и считали самолетики. Когда мы подлетали к Тегерану, это всегда напоминало момент озарения; раскинувшееся внизу одеяло мерцающих огней сообщало, что мы прибыли, что это Тегеран ждет нас внизу. Семнадцать лет я мечтала об этих огнях, таких манящих и соблазнительных. Я мечтала нырнуть в них с головой и больше никогда не уезжать.

Наконец мечта сбылась. Я вернулась домой, но атмосфера в аэропорту оказалась неприветливой. Она была мрачной и слегка угрожающей, как не улыбочивые портреты аятоллы Хомейни и его помазанника, аятоллы Монтазери. Будто злая ведьма на метле пронеслась над зданием аэропорта и одним взмахом забрала все рестораны, детей и женщин в разноцветной одежде, какими я их помнила. Это чувство подтвердилось, когда я заметила затравленную тревогу в глазах матери и друзей, приехавших в аэропорт поприветствовать нас дома.

Когда мы выходили из зоны таможи, нас остановил мрач-

ный юноша; он пожелал меня обыскать. Но нас уже обыскивали, напомнила я. Нет, не чемоданы, коротко ответил он. Но почему? Я здесь живу, это мой дом, хотелось сказать мне; можно подумать, это уберегло бы меня от подозрений и пристальных взглядов. Он сказал, что будет искать алкогольные напитки. Меня отвели в угол. Мой муж Биджан беспокойно наблюдал за мной, не зная, чего больше бояться – угрюмого охранника или меня. На его лице появилась улыбка, которая вскоре станет мне очень хорошо знакома: циничная, покорная улыбка соучастника. Ты же не будешь спорить с бешеным псом, сказал мне кто-то потом.

Сперва они вывалили содержимое моей сумочки: помаду, ручки и карандаши, ежедневник, футляр для очков. Потом взялись за рюкзак и достали оттуда мой диплом, свидетельство о браке, книги – «Аду»<sup>24</sup>, «Еврейскую бедноту»<sup>25</sup>, «Великого Гэтсби». Охранник держал их брезгливо, как чужое нижнее белье. Но конфисковывать не стал – тогда не стал. Их конфисковали несколько позже.

---

<sup>24</sup> «Ада» – роман Набокова.

<sup>25</sup> Полуавтобиографический роман Майкла Голда 1930 года, оригинальное название – *Jews without Money*. Считается одним из лучших пролетарских романов всех времен и рассказывает о жизни еврейской иммигрантской бедноты.

## 2

В первые годы за границей, когда я училась в школах в Англии и Швейцарии, и потом, когда жила в Америке, я пыталась формировать восприятие других стран сообразно своим понятиям об Иране. Я стремилась углядеть в ландшафте сходство с персидскими пейзажами и даже на семестр перевелась в небольшой колледж в Нью-Мексико, потому что тамошние панорамы напоминали мне о доме. *Понимаете, Фрэнк и Нэнси, вот этот маленький ручеек в окружении деревьев, текущий по сухой потрескавшейся земле, – это так похоже на Иран. Здесь совсем как в Иране, совсем как дома.* Всем, кто соглашался меня слушать, я рассказывала, что Тегеране мне больше всего нравились его горы и сухой, но щедрый климат, деревья и цветы, которые росли и цвели на выжженной земле и, казалось, питались солнечным светом.

Когда отца посадили в тюрьму, я вернулась домой; мне разрешили остаться на год. Потом, накануне своего восемнадцатилетия, я, неуверенная в себе девчонка, вышла замуж, повинуясь минутному импульсу. Я вышла за человека, чьим главным достоинством было то, что он был на нас не похож. Его образ жизни в сравнении с нашим казался прагматичным и лишенным всяких сложностей. Он был очень уверен в себе. Книги он не любил («твоя проблема – твоя и твоих родных – в том, что вы живете в книгах, а не в реальном

мире»); безумно меня ревновал (так, по его мнению, должен был вести себя мужчина, властвующий над своей судьбой и собственностью); стремился к успеху («когда у меня будет свой кабинет, мое кресло будет выше стульев посетителей, и тогда они всегда будут меня бояться») и обожал Фрэнка Синатру. В день, когда согласилась выйти за него, я уже знала, что мы разведемся. Но моя тяга к саморазрушению и стремление рисковать своей жизнью не знали границ.

Мы переехали в Норман, штат Оклахома, где он учился на инженера в Оклахомском университете. Через шесть месяцев я решила развестись с ним в день, когда отец выйдет из тюрьмы. Ждать пришлось три года. Он отказался давать мне развод («женщина входит в мужнин дом в белом платье и выходит в белом саване», говорил он). Но он недооценил меня. Ему нужна была жена, которая красиво одевается, делает маникюр, ходит к парикмахеру каждую неделю. Я не подчинялась ему, носила длинные юбки и рваные джинсы, отращивала волосы и сидела на лужайке в студенческом городке со своими друзьями-американцами, в то время как мимо проходили его друзья и украдкой посматривали в нашу сторону.

Отец поддержал мое желание развестись и пригрозил подать на алименты – по шариату это единственная защита, на которую могла рассчитывать женщина. Муж наконец согласился дать развод, когда я пообещала не подавать на алименты и разрешила ему оставить себе все деньги на совместном банковском счету, машину и ковры. Он вернулся в Иран, а

я осталась в Нормане и стала там единственной зарубежной студенткой факультета английского языка. Других иранцев я сторонилась, особенно иранских мужчин, питавших многочисленные заблуждения о доступности молодой разведенной женщины.

Я помню Норман таким: красная земля и светлячки, песни и демонстрации на газоне в студенческом городке, чтение Мелвилла, По, Ленина и Мао Цзэдуна, Овидия и Шекспира теплыми весенними вечерами в компании любимого профессора, чьи политические взгляды склонялись к консервативным, и другого, с которым мы гуляли по вечерам и пели революционные песни. Вечером мы смотрели новые фильмы Бергмана, Феллини, Годара и Пазолини. Я вспоминаю эти дни, и в памяти смешиваются разрозненные образы и звуки: печальные застывшие кадры бергмановских женщин накладываются на звуковую дорожку с успокаивающим голосом моего Дэвида, профессора-радикала, поющего под гитару:

*Ступает пастор величавый в сумраке ночном  
И учит уму-разуму народ.  
Народ не внемлет, думает лишь только об одном:  
Где хлеба взять и чем набить живот.  
«Трудитесь, грешники, молитесь и когда-нибудь  
На небесах вас ждет большой пирог.  
Вина небесного в райо вы сможете хлебнуть...»*

По утрам мы устраивали демонстрации, оккупировали административное здание и пели песни на газоне перед корпусом, где размещалась кафедра английского языка – газон этот назывался «Южным Овалом». Бывало, что кто-то пробежал голышом по лужайке по направлению к красному кирпичному зданию библиотеки. То было время маршей против войны во Вьетнаме; я маршировала, а несчастные студенты, вступившие в программу подготовки офицерского резерва, пытались не обращать внимания на эти наши выступления. Потом я начала ходить на вечеринки с мужчиной, которого полюбила по-настоящему; от него я узнала о Набокове, он подарил мне его роман «Ада» и написал на форзаце: *Азар, моей Аде, от Теда*.

Моя семья всегда относилась к политике свысока, со своего рода бунтарским снисхождением. Родственники гордились тем, что еще восемьсот лет назад Нафиси были знамениты своим вкладом в литературу и науку – *четырнадцать поколений*, с гордостью подчеркивала моя мать. Мужчин из нашей семьи называли *хаким* – ученые, мыслители; позже, уже в нашем веке, женщины из рода Нафиси пошли учиться в университеты и преподавали в эпоху, когда мало кто из женщин отваживался выйти из дома. Когда отец стал мэром

---

<sup>26</sup> Строки из песни *The Preacher and the Slave* – «Проповедник и раб», автор Джо Хилл, 1911 год. Другое популярное название – «Небесный пирог».

Тегерана, мы не радовались; семью, скорее, охватило чувство дискомфорта. Мои младшие дяди – в то время они учились в университете – отказались признавать отца как брата. Позже, в период отцовской опалы, родители сильнее гордились его тюремным сроком, чем сроком на посту мэра, и внушили нам ту же гордость.

С некоторой неохотой я вступила в Иранское студенческое движение. Арест отца и смутные националистические симпатии моей семьи пробудили во мне интерес к политике, но я всегда была скорее бунтаркой, чем политической активисткой, хотя в те дни особой разницы между этими двумя понятиями не существовало. Помимо всего прочего, меня привлекало, что мужчины из студенческого движения не пытались меня домогаться или соблазнять. Они собирали учебные группы, где мы обсуждали «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркса. В семидесятые в воздухе витали революционные настроения – не только среди иранцев, но и в Америке, и в Европе. Перед глазами стоял пример Кубы и, разумеется, Китая. Революционный крен и романтическая атмосфера оказались заразительными, а иранские студенты были на передовой борьбы. Они активно протестовали и даже были склонны к конфронтации; так, они оккупировали иранское консульство в Сан-Франциско и получили за это тюремный срок.

Иранское студенческое объединение в университете

Оклахомы являлось подразделением Всемирной конфедерации иранских студентов. У организации были отделения и члены в большинстве крупных городов Европы и США. В Оклахоме ее силами на территории студгородка возникла Революционная студенческая бригада – воинственно настроенная студенческая ветвь Революционной коммунистической партии; она же способствовала созданию Антиимпериалистического комитета стран Третьего мира, состоявшего из радикально настроенных студентов разных национальностей. Конфедерация, построенная на принципах ленинского демократического централизма, стремилась держать под контролем образ жизни своих членов и их общественную деятельность. Постепенно в группе стали доминировать марксисты и более агрессивно настроенные элементы; они оттеснили или изолировали студентов с более умеренными и националистическими взглядами. Членов конфедерации можно было узнать по спортивным курткам с портретом Че Гевары и походным ботинкам; женщины обычно стриглись коротко, редко пользовались косметикой и носили штаны со множеством карманов и пиджаки с воротниками-стойками, как у Мао Цзэдуна.

Так начался период, похожий на раздвоение личности: я пыталась примирить свои революционные чаяния с образом жизни, который мне очень нравился. Я так по-настоящему и не смогла стать частью движения. Во время долгих собраний, сопровождаемых горячими спорами конкурирую-

щих фракций, я часто под разными предлогами выходила из комнаты и иногда запиралась в ванной, чтобы сбежать от всего этого. Вне собраний я носила длинные платья, волосы стричь не хотела. Не прекратила читать и любить «контрреволюционных» писателей – Т. С. Элиота, Остин, Плат, Набокова, Фицджеральда. Но, вдохновляясь фразами, прочитанными в стихах и романах, я выступала с пламенными речами на митингах и сплетала слова в революционную песнь. Гнетущая тоска по дому принимала форму восторженных речей, обращенных против тиранов моей родины и их американских покровителей, и хотя я никогда не чувствовала себя своей в этом движении и оно так и не стало для меня домом, в нем я нашла идеологический каркас, способный оправдать мою необузданную, бездумную горячность.

Осень 1977 года запомнилась двумя событиями: в сентябре я вышла замуж, а в ноябре шах совершил свой последний, самый драматичный официальный визит в Соединенные Штаты. С Биджаном Надери мы познакомились за два года до этого на собрании в Беркли. Он возглавлял студенческую группу, чьи идеи были мне наиболее близки. Но я полюбила его совсем не за это – не за революционную риторику, а за уверенность в себе и убеждения намного более твердые, чем истерические выкрики других студенческих лидеров. Он был верным и горячо преданным любому делу, за которое брался, будь оно связано с семьей, работой или движением, однако преданность никогда не лишала его способ-

ности вовремя разглядеть, во что превращается его движение. Это восхищало меня в нем, как и его последующий отказ соблюдать революционные мандаты.

На многочисленных демонстрациях, в которых я участвовала, выкрикивая лозунги против вмешательства США во внутреннюю политику Ирана, на митингах протеста, где мы спорили до поздней ночи, думая, что говорим об Иране, хотя на самом деле нас больше беспокоило случившееся в Китае, – на всех этих мероприятиях со мной всегда оставалась мысль о доме. Иран был моим домом, и я могла мгновенно вообразить его; весь мир предстал передо мной сквозь его туманную пелену.

В моем представлении о доме имелись несоответствия и сущностные парадоксы. Был привычный Иран – ностальгический, место, где остались родители, друзья и летние вечера у Каспийского моря. Но не менее реальным был другой, реконструированный Иран, тот, о котором мы говорили на собраниях, когда спорили, чего хотят иранские массы. По мере того, как в семидесятые движение стало более радикальным, массы стали требовать, чтобы мы не подавали алкоголь на праздниках, не танцевали и не ставили «упадническую» музыку: разрешались лишь народные и революционные песни. Они хотели, чтобы девочки стриглись коротко или носили хвостики. Хотели, чтобы мы избавились от буржуазной привычки к учебе.

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как мы приземлились в Тегеранском аэропорту. Я стояла перед кабинетом заведующего кафедрой английского языка в Тегеранском университете. У входа я чуть не сбила с ног кудрявого дружелюбного юношу в сером костюме. Позже я узнала, что его тоже только что приняли в штат; он, как и я, недавно вернулся из Америки и был полон энтузиазма и новых идей. Секретарша, производившая впечатление святой невинности, несмотря на свою пышнотелую красоту, улыбнулась мне и просеменила в кабинет заведующего. Через минуту она вернулась и кивком пригласила меня войти. Я вошла, споткнулась о маленький деревянный порожек между двумя дверьми, потеряла равновесие и чуть не шмякнулась об стол заведующего.

Он приветствовал меня растерянной улыбкой и предложил стул. В прошлый раз я была в этом кабинете две недели назад; тогда меня собеседовал другой завкафедрой, высокий приветливый мужчина. Он расспрашивал меня о разных моих родственниках, среди которых были известные писатели и ученые. Я радовалась, что он пытается наладить со мной контакт, но тревожилась, что всю оставшуюся жизнь придется жить в тени своих выдающихся родственников.

Новый завкафедрой, доктор А., вел себя совсем иначе. Он приветливо улыбался, но в улыбке отсутствовала тепло-

та; скорее, она была оценивающей. Он пригласил меня на прием в своем доме в тот же вечер, но держался отстраненно. Мы говорили о литературе, а не о родственниках. Я пыталась объяснить, почему передумала насчет своей диссертации. Видите ли, сказала я, я думала провести сравнительное исследование пролетарской и непролетарской литературы двадцатых и тридцатых годов. Лучшим примером непролетарского автора двадцатых годов оказался Фицджеральд. Завкафедрой согласился, что это очевидный выбор. Но потом у меня возникла сложность с оппонентом Фицджеральда, я не знала, кого выбрать – Стейнбека, Фаррела, Дос Пассоса? Все эти писатели были несколько иного эшелона, чем Фицджеральд, по крайней мере, по части литературного мастерства. А в каких категориях еще сравнивать писателей? Однако потом мне попала в руки книга о настоящем пролетариате, дух которого прекрасно запечатлел Майк Голд. Кто-то, спросите вы? Майк Голд, редактор популярного радикального литературного журнала «Новые массы». В свое время Голд был важной птицей, хоть в это трудно поверить сейчас. Он первым сформулировал концепцию пролетарского искусства в США. К его словам прислушивались даже писатели ранга Хемингуэя, а сам он называл Хемингуэя «белым воротничком», а Торнтона Уайлдера – «Эмили Пост<sup>27</sup> американской культуры».

В конце концов я решила не писать о Фицджеральде. Голд

---

<sup>27</sup> Автор знаменитого справочника по этикету.

заинтересовал меня гораздо больше, и я задалась вопросом, почему он стал популярнее Фицджеральда – а он стал. В тридцатые годы писателей вроде Фицджеральда вытеснила новая порода авторов, и я хотела понять, почему это произошло. Вдобавок ко всему, я сама была революционеркой, и стало любопытно, какая страсть двигала Майками Голдами этого мира. Вам нужна была страсть, удивился заведующий, и вы бросили Фицджеральда ради этого парня? У нас выдалась интересная дискуссия, и я приняла его приглашение на прием тем вечером.

Прежний завкафедрой – высокий, приветливый, которого я встретила в первый визит, – теперь сидел в тюрьме. Никто не знал, когда его освободят и освободят ли. Многих профессоров из университета выгнали, другие ждали своей очереди. В первые дни революции, когда я, наивная и восторженная, что теперь кажется неуместным, учитывая обстоятельства, начинала преподавательскую карьеру на кафедре английского языка факультета персидского языка и зарубежной филологии Тегеранского университета, это было обычным делом. Я была самой молоденькой и неопытной преподавательницей. Если бы мне предложили аналогичную позицию в Оксфорде или Гарварде, я бы боялась меньше, но пост показался бы мне менее почетным.

Выражение лица доктора А., которое поприветствовало меня после того, как я споткнулась о порожек в дверях кабинета, за годы встречалось мне еще не раз на лицах самых раз-

ных людей. Его лицо выражало удивление и снисходительность. Какое смешное дитя, казалось, думал он; эту девочку нужно наставлять и иногда ставить на место. Позже он стал смотреть на меня иначе – сердито, словно я нарушила условия первоначального контракта и стала непослушным, неуправляемым ребенком, на которого не было управы.

Все мои воспоминания тех лет связаны с Тегеранским университетом. Он был пупом, недвижимым центром оси, к которой привязывались все политические и общественные события. В Америке, когда мы читали или слушали о беспорядках в Иране, казалось, все самые важные сцены разыгрывались именно в Тегеранском университете. Все политические группировки использовали его как арену для своих высказываний.

Поэтому неудивительно, что новое исламское правительство избрало университет местом проведения еженедельных пятничных молитв. Важность этого постановления стала особенно очевидна ввиду того, что всегда, даже после революции, студенты-мусульмане, особенно более фанатичного толка, являлись меньшинством, теснимым левыми и светскими студенческими группировками. Своими действиями исламская фракция объявила победу над другими политическими группами: подобно победоносной армии, она расположилась в самом священном месте оккупированной земли, в сердце покоренной территории. Раз в неделю кто-нибудь из самых известных представителей духовенства поднимался на кафедру и обращался к тысячам мусульман, собравшимся на территории университета – мужчины стояли с одной стороны, женщины с другой. Священник держал в

руках автомат и читал недельную проповедь о самых насущных политических вопросах сегодняшнего дня. Но казалось, сама земля под ним противилась такому вторжению.

В те дни я чувствовала, что между разными политическими группировками идет дележ территории и эта борьба разворачивается главным образом в университете. Тогда я еще не знала, что меня ждет моя собственная битва. Оглядываясь на то время, я рада, что не осознавала тогда свою особенную уязвимость: я, со своей маленькой коллекцией книжечек, была посланницей несуществующей страны; я, со своими мечтами, явилась вернуть эту землю себе и назвать ее домом. Среди разговоров о предательстве и правительственных перестановках, о событиях, которые сейчас перемешались в моей памяти и потерялись во времени, я при любой возможности сидела с разбросанными вокруг книжками и конспектами и пыталась составить планы уроков. В первом семестре я вела семинар для очень большого потока студентов; он назывался «Литературные исследования», изучали мы «Приключения Гекльберри Финна» и проводили общий обзор художественной литературы двадцатого века.

Я пыталась отдавать справедливую дань политическим темам. Вместе с «Великим Гэтсби» и «Прощай, оружие» преподавала произведения Максима Горького и Майка Голда. Все дни я проводила в книжных магазинах, выстроившихся в ряд на улице напротив университета. На этой улице – сейчас она называется бульвар Революции – находились все главные

книжные магазины и издательства Тегерана. Было так приятно переходить от одного к другому и наткнуться на внезапные жемчужины, порекомендованные продавцом или кем-то из покупателей, или с удивлением обнаруживать, что кто-то знает малоизвестного английского писателя Генри Грина<sup>28</sup>.

В разгар судорожных приготовлений к занятиям меня вызывали в университет по вопросам, не относящимся к семинарам и книгам. Почти каждую неделю, а бывало, и каждый день у нас проводились демонстрации или собрания, и нас тянуло к ним, как магнитом, хотели мы этого или нет.

Одно воспоминание подкрадывается беспричинно и предательски, дразняще витая в памяти. С чашкой кофе в одной руке и блокнотом и ручкой в другой я стояла, готовясь выйти на балкон и там поработать над программой занятий. Зазвонил телефон. Я услышала взволнованный тревожный голос подруги. Она спрашивала, слышала ли я, что умер аятолла Талегани, очень популярный и противоречивый священнослужитель, один из ключевых фигур Исламской революции. Он был относительно молодым радикалом, и уже ходили слухи, что его убили. Организовали траурное шествие, начинавшееся от Тегеранского университета.

Не помню, сколько времени прошло от звонка до моего

---

<sup>28</sup> Генри Грин (1905–1973) – интересная фигура в литературном мире: действительно малоизвестный британский писатель, автор десяти романов, которого современники, тем не менее, называли «лучшим английским романистом»; его ценили именно в литературной среде, считая гением литературной прозы. Писал о жизни рабочего класса, в том числе во время и после Второй мировой войны.

приезда ко входу в университет – наверно, около часа. На подъезде была пробка. Мы с Биджаном вышли из такси в районе университета и пошли пешком. По какой-то причине через некоторое время, словно подталкиваемые невидимой силой, мы перешли на бег. Огромная толпа скорбящих заблокировала улицы, ведущие к университету. Рассказывали, что между муджахидинами<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> От араб. «воин»; другое название моджахед.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.